Леонид Фризман

В КРУГАХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ

Мемуарные очерки

Леонид Фризман

В кругах литературоведов. Мемуарные очерки

«Нестор-История»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Фризман Л. Г.

В кругах литературоведов. Мемуарные очерки / Л. Г. Фризман — «Нестор-История», 2017

ISBN 978-5-4469-1248-3

Сборник мемуарных очерков известного советского, российского и украинского литературоведа рассказывает о людях, с которыми ему довелось общаться за более чем полвека своей научной деятельности. Среди них такие классики современной филологии, как Д. С. Лихачев, М. П. Алексеев, Д.Д. Благой, Б. Ф. Егоров, Н.Н. Скатов; ученые, с которыми у него сложились особенно продолжительные и близкие отношения, такие как М. Л. Гаспаров, В.Э. Вацуро, Г. М. Фридлендер, А. А. Аникст, Е.Г. Эткинд. Автор делится воспоминаниями о поддержке и помощи, которые он получал от своих коллег, и о препятствиях, которые ставились на его пути, о дискриминации, которой он подвергался. Публикуемые письма документально подтверждают правдивость освещения описываемых событий.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4469-1248-3

© Фризман Л. Г., 2017
© Нестор-История, 2017

Содержание

От автора	6
Вместо введения	7
Твардовский, Буртин и другие	11
Притупленное жало Овода	38
Молодой Баткин	40
Память о Лихачеве	46
Пигарев и Двинянинов	53
Кандидат, превзошедший академиков	58
В кругу пушкинистов	67
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Леонид Фризман
В кругах литературоведов. Мемуарные очерки

Напрашивается то, чтобы писать без всякой формы: не как статьи, рассуждения и не как художественное, а высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь.

Л.Н.Толстой

© Л.Г. Фризман, 2017
© Издательство «Нестор-История», 2017

От автора

Я никогда не помышлял писать мемуары. Но в последние годы меня не раз приглашали участвовать в сборниках, которые выпускались в честь или в память видных литературоведов, и просили поделиться воспоминаниями о них и моих отношениях с ними. Я считал своим долгом откликаться на такие предложения, потому что это давало мне возможность выразить свою признательность людям, с которыми меня сводила судьба, многократно помогавшим мне словом и делом. В моем представлении эта книга не обо мне, а о них.

Составившие ее очерки – это не главы. Каждый из них самостоятелен, поэтому иногда приходилось повторять в разных очерках одни и те же факты. Последовательность их условна. Из самого ее названия явствует, что эта книга об ученых, а, как любил говорить Дмитрий Сергеевич Лихачев, плохой человек не может быть хорошим ученым.

Желаю моим читателям интересных встреч с хорошими людьми.

Вместо введения

Сказать, что мои детские годы прошли в кругах литературоведов, было бы преувеличением, хотя люди этой специальности, в том числе фигурирующие в этой книге Маргарита Орестовна Табель и Марк Владимирович Черняков, входили в дружеский круг моих родителей и бывали в нашем доме с довоенных времен. Но то, что я рос в мире литературы, это уж точно. Никогда меня не окружали стены, не занятые книжными полками. Хорошо помню, что до войны я уже свободно читал и особенно любил книги Бориса Жидкова «Что я видел» и Сергея Розанова «Приключения Травки». А уж «Дядю Степу» и «Мистера Твистера» знал наизусть. Мой отец Генрих Венецианович Фризман был историком-медиевистом, мать Дора Абрамовна Гершман – музыкантом, сначала пианисткой, а потом – дирижером-хормейстером. Жившая с нами сестра отца Лидия Венециановна, которую всю жизнь звали Люсей, очень меня любила и была мне, можно сказать, второй матерью.

С родителями

В нашей семье был своего рода культ Ахматовой, Гумилева, Антокольского. Отец собирал все сборники стихов Антокольского, а Люся переписывала от руки недоступные в те годы сборники Ахматовой: «Белая стая», «Четки», «Anno Domini MCMXXI». Позднее и я переписывал «Россию» Волошина, «Лирическое отступление» Асеева… Храню эти рукописные «альбомы» как реликвии, свидетельства того, в каком положении держала советская власть и подавленную литературу, и свой несчастный народ.

Но это было потом. А главным событием моего детства, конечно, была война. 22 июня в 12 часов наша притихшая семья слушала по радио выступление Молотова, стараясь не пропустить ни слова, не проронить ни звука. И как только прозвучали последние слова: «Враг будет разбит. Победа будет за нами», – отец сказал: «Надо уезжать». Сталин еще отдавал приказы немедленно отбросить противника и перенести боевые действия на его территорию, а отец не питал иллюзий и был уверен, что Харьков будет сдан. На следующее утро он поехал на вокзал и, вернувшись с потемневшим лицом, рассказал, что там висит объявление: «Билеты продаются только по приказу военного коменданта».

Маминых родителей уговаривать не пришлось. Они сразу ответили: «Куда ты, туда и мы». А бабушка по отцовской линии отказалась уезжать наотрез: она, дескать, видела немцев во время Первой мировой войны, это такие интеллигентные люди, их нечего опасаться… Ее, разумеется, убили.

Вскоре начались бомбежки. Среди ночи взвывала сирена, радио передавало: «Граждане, воздушная тревога!» – и мы бежали в бомбоубежище. Эта многократно повторявшаяся фраза сопрягалась в моем детском мышлении со стихами Ахматовой. В ее стихотворении «Лотова жена» есть строка «Но громко жене говорила тревога». Для меня пятилетнего слово «тревога» имело только одно значение: «воздушная тревога».

Уехать из Харькова было трудно. Меня и маму спасла тетка – Серафима Николаевна Фризман. Коммунистка с дореволюционным стажем, участница Гражданской войны, она была начальницей санитарного эшелона, увозившего в тыл раненых, пристроила там и нас. Хотя количество вещей, которые можно было взять с собой, ограничивалось лишь самым необходимым, для меня везли какие-то игрушки, машинки, кубики. Как же, ведь ребенку нужно будет чем-то играть! Отец и его сестра выбрались из города в последний момент, буквально из-под гусениц немецких танков. После месяца беспорядочных скитаний мы соединились в Уральске, где и прожили до лета 1944 года.

Жили трудной, полуголодной жизнью. Отец страдал тяжелой формой бронхиальной астмы, из-за которой его не призвали в армию. Неимоверными усилиями он умудрился дописать начатую в Харькове кандидатскую диссертацию и защитить ее в Саратовском университете. Но нормально работать, читать лекции астма ему не давала, и мамина зарплата долго оставалась единственным источником нашего существования.

Мама работала хормейстером военного училища, эвакуированного из Ленинграда, и поэтому была награждена не только медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», которую давали всем, но и «За победу над Германией», полагавшуюся только военнослужащим. Ее не хотели отпускать, предлагали квартиру и любые блага в Ленинграде, но отец об этом и слышать не хотел – рвался только в родной Харьков. Мама была, конечно, изможденa тяжелой работой и недоеданием. Папа острил: война – лучший способ сделать женщин изящными.

Меня определили в детский сад: кормежка, которую я там получал, хоть как-то облегчала положение семьи. По этой причине я и в школу пошел на год позже, и в Уральске закончил только первый класс. Книги, понятное дело, были почти недоступны, но папа считал, что война не война, а ребенок должен развиваться нормально, и вечерами рассказывал мне содержание книг, которые, по его мнению, мне следовало читать в этом возрасте: «Золотой ключик», «Чук и Гек», сказки Андерсена, «Похождения Мюнхгаузена», «Дети капитана Гранта», «Приключения Тома Сойера».

Я жадно интересовался событиями на фронте. По несколько раз в день слушал сводки «От советского Информбюро» и «Приказы Верховного Главнокомандующего». Когда мама приносила из училища какие-нибудь газеты, зачитывал их до дыр. Отчетливо помню огромное впечатление, которое производили на меня статьи Ильи Оренбурга, большинство которых печатала «Красная звезда». Наверное, я мало что в них понимал, но меня завораживала их тональность, боль и гнев, клокотавшие в каждой строке. Эти короткие призывные предложения звучали как набат.

Стал и сам делать записи о происходивших событиях. Объемная тетрадь с такими записями, на обложке которой красуется надпись «Война», цела до сих пор и лежит сейчас передо мной. Вначале обширный исторический экскурс. Описаны события, предшествовавшие мюнхенскому сговору, разоблачена предательская политика Англии и Франции, которой противопоставлена благородная позиция Советского Союза, последующий захват Чехословакии, нападение на Польшу. Рассказано о гитлеровской агрессии против Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии и о разгроме Франции. В полном соответствии с тогдашней советской пропагандой освещено присоединение к СССР прибалтийских республик. Наконец разоблачено вероломство Гитлера, нарушившего советско-германский пакт о ненападении, и «анализируются» причины поражений Красной армии в первые месяцы войны.

Память у меня была цепкая: все деревни, где происходили бои, и имена отличившихся командиров я знал наизусть. Мама водила меня в училище, где устраивала мои «политинформации» для курсантов. Восхищенные слушатели, понятное дело, не скупились на похвалы, а какая же мать упустит возможность похвастать способностями своего сына!

Возвращение в освобожденный Харьков, или, как тогда говорили, реэвакуация, осуществлялось только по вызовам. Моему отцу вызов пришел с большой задержкой. Это были первые проявления зарождавшегося государственного антисемитизма, который позднее расцвел буйным цветом, достигнув апогея в таких событиях, как убийство Михоэлса, расстрел в подвалах Лубянки членов Еврейского антифашистского комитета и арест «врачей-вредителей». Из-за этой задержки мы лишились квартиры, которую могли бы получить, приехав на несколько месяцев раньше, но возвращение в родной город воспринималось как счастье.

Во время переезда из Уральска в Харьков я сильно отравился и выжил чудом. Лишь через много лет я узнал, что меня соглашались лечить, только получив у отца расписку, что он не будет предъявлять претензии в случае моей смерти. Маме он об этом не рассказывал, не хотел, чтобы она знала, как велика была угроза.

Лечение мое растянулось на годы, меня не раз клали в больницу, и моя учеба в школе пошла наперекосяк. По истории и литературе я был на высоте, но с предметами физико-математического рода возникали нешуточные проблемы. Репетитор, которого мне взяли, не только помог мне закончить школу, хоть и без медали, но достаточно пристойно, но уверял, что я одарен именно по его линии.

Погиб ли во мне великий математик, неизвестно, но неоспоримым фактом является то, что на протяжении нескольких десятилетий мой ближайший дружеский круг составляли не литературоведы, а математики и теорфизики, притом не абы какие, а с достаточно известными именами. Я назову их без отчеств, как называл, когда все они были живы и я жил с ними в одной стране. Мусик Каганов, Фред Басс, Вова Кошкин, Юра Гуревич, Юра Гандель, Юра Бережной, Люсик Вербицкий, Миша Ястребенецкий, Леня Ставницер, Саша Френкель. Под их влиянием я пытался уменьшить прорехи в своей осведомленности в области точных наук, корпел над классическим учебником Е. Куранта и Г. Роббинса «Что такое математика».

Фризман, Кошкин, Басс

Вместе с Вовой Кошкиным мною вынашивалась идея создания новой науки – литературометрии, существом которой было бы применение к изучению литературы статистических методов. Поскольку эти попытки, совместно подготовленные нами доклады и публикации по тематике вызвали интерес и получили поддержку Михаила Леоновича Гаспарова, я рассказываю о них в посвященном ему очерке «Обманчивый коллега».

И все же я убежден, что постоянное общение с математиками и теорфизиками, да еще такого уровня, не прошло для меня бесследно. Я ездил на разного рода семинары и выезд-

ные «школы», и, хотя участвовал лишь в «культурных программах», выступая с докладами о поэтах и авторской песне, они на какое-то время становились моей средой обитания, и какие-то навыки присущего им склада мышления, надо думать, проникали в меня, пусть и в небольших дозах. Отсюда, видимо, присущая мне устойчивая тяга связывать своеобразие поэта с количественными показателями его словаря, и установка на системность любого анализа, более свойственная представителям точных наук, чем гуманитарных. Но от любых самооценок воздержусь, доверившись суду со стороны.

Твардовский, Буртин и другие

Чтоб нам хоть слово правды по-русски выпало прочесть.
Б. Чичибабин

В начале марта 1962 года я получил письмо от А. Т. Твардовского. Этому предшествовало его выступление на торжественном заседании в Большом театре со «Словом о Пушкине», где он, в частности, сказал: «Разве ограничивается идейно-художественное содержание и значение одного из самых известных произведений политической лирики Пушкина “Клеветникам России” тем, что непосредственный повод его – Польское восстание 1830-1831 годов?»[1]. Эти слова задели меня за живое. Я давно был убежден, что стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» толкуются у нас искаженно и предвзято, что мы боимся «обидеть» Пушкина, вскрыв их конкретно-исторический смысл и звучание, которое они имели в свое время. И вот Твардовский отделяет идейно-художественное содержание и значение этих стихов от их непосредственного повода! Может быть, это открывает возможность сказать правду о нем, о поводе? Ведь Твардовский был тогда в чести: депутат Верховного Совета, кандидат в члены ЦК КПСС. Казалось, ему позволят то, что запретно для других.

И я написал большое письмо, где на трех или четырех страницах высказал то, что думал о стихах «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», и предложил развернуть его в статью на эту тему. Ответ пришел немедленно. Вот его текст:

Уважаемый тов. Фризман!

Мне очень приятно было получить Ваше письмо в связи с моей речью о Пушкине и по душе мысли, высказанные в нем. Большую «аргументированную статью на эту тему» «Новый мир» вряд ли сможет сейчас поместить. Но, во-первых, возможно, мне удастся опубликовать Ваше письмо в ряду других писем в связи со «Словом о Пушкине», а во-вторых, не попытаться ли бы Вам написать что-нибудь на собственно современную тему? Писать Вы можете – это, по крайней мере, вполне очевидно. Желаю Вам всего доброго.

А. Твардовский 5 марта 1962 г.[2]

Конечно, отказ есть отказ. Но я уже сорвался с цепи. «Мысли по душе», «писать Вы можете» – нетрудно представить себе, что значило для двадцатишестилетнего учителя школы рабочей молодежи подобное ободрение, да еще из уст самого Твардовского! Статью я написал, обивал с нею пороги разных журналов, но безуспешно: все выражали мне одобрение, но никто не хотел брать на себя ответственность за публикацию крамольного сочинения. И лишь тридцать лет спустя его напечатали «Вопросы литературы».

[1] *Твардовский А. Т.* Собр. соч. В 6 т. М.: Худож. лит., 1976-1983. Т. 5. М., 1980. С. 371.

[2] *Твардовский А. Т.* Собр. соч. Т. 6,1983. С. 189.

А. Т. Твардовский

Не забыл я и о предложении Твардовского написать что-нибудь на собственно современную тему. Но случилось так, что в двери «Нового мира» я постучался лишь через несколько лет. Предложенная мной статья называлась «Ирония истории». Замысел ее был обязан своим возникновением словам Энгельса: «Люди, хвалившиеся тем, что *сделали* революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что делали, – что *сделанная* революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл “иронией истории”»[3].

Когда я стал пересматривать произведения и особенно письма Маркса и Энгельса, то убедился, что выражение «ирония истории» повторяется в них десятки раз, что им обозначается не менее чем закономерность исторического развития, что это ключ, помогающий и глубже понять прошлое, и правильнее разобраться в настоящем. А какая еще эпоха способна была дать такое изобилие примеров действия этого закона, как не эпоха Брежнева, эпоха всепронизывающей лжи, фальшивых ценностей, вымышленных успехов, беспримерного разлада между словом и делом! Моим глубинным устремлением, которому я не в силах был противостоять, была жажда выразить свое отношение к советской действительности. Помнится, я думал тогда, что, если бы я мог предпослать своей статье такой эпиграф, как хочу, я выбрал бы заключительные строки одной из баллад А. К. Толстого:

Российская коммуна, Прими мой первый опыт![4]

Между письмом Твардовского и моим приходом в «Новый мир» произошло два важных события. В конце 1962 года в нем была опубликована повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», вслед за ней еще несколько его произведений, а летом 1963-го – поэма Твардовского «Теркин на том свете».

---

[3] *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения: В 50 т. М.: Госполитиздат, 1955-1981. Т. 36. М., 1964. С. 263. Здесь и далее курсив или другое выделение слов в цитатах при отсутствии особых оговорок принадлежит автору цитируемого текста.

[4] *Толстой А.К.* Собр. соч. В 4-х т. М.: Изд. худож. лит, 1963-1964. Т. 1. М., 1963. С. 326.

Обложка отдельного издания поэмы. Рисунок О. Г. Верейского

Когда я предлагал «Новому миру» статью о Пушкине и Польском восстании, меня вдохновляло убеждение, что «Новый мир» и его редактор настолько независимы и влиятельны, что способны пренебречь легко ожидаемым сопротивлением пушкиноведческой элиты и предать гласности крамольный с ее точки зрения материал.

Но в свете последующих поступков Твардовского слова в его письме, что ему **«по душе»** мысли, мной высказанные, наполнились для меня намного более значимым содержанием, я услышал в них одобрение своего бунтарства и нонконформизма. Ведь «Один день Ивана Денисовича» и «Теркин на том свете» были потрясением основ в несравненно большей степени, чем любое обновленное толкование стихов «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».

Не зря автор «Теркина» упредил свою поэму строфами, где эта установка сформулирована в самых обобщенных выражениях, применимых к разным конкретным ситуациям:

Не спеши с догадкой плоской,
Точно критик-грамотей,
Всюду слышать отголоски
Недозволенных идей.

И с его лихой ухваткой
Подводить издалека —
От ущерба и упадка
Прямо к мельнице врага.

И вздувать такие страсти
Из запаса бабьих снов,
Что грозят советской власти
Потрясением основ.

Не ищи везде подвоха,
Не пугай из-за куста.
Отвыкай. Не та эпоха —

Хочешь, нет ли, а не та![5]

Надежда на взаимопонимание, которую я робко позволял себе питать, обращаясь к нему со своим письмом, полностью подтвердилась, когда я увидел, что из всех своих книг, которыми он мог бы меня одарить, он остановил свой выбор на отдельном издании поэмы «Теркин на том свете». Я счел это неоспоримым подтверждением того, что он почувствовал биение моего сердца, одобрил готовность вторгаться в запретные области, да как! **«Написать что-нибудь на собственно современную тему».**

Автограф А. Т. Твардовского

Как и следовало ожидать, поэма вызвала взрыв ярости у сталинистов, которых в ту пору иронически именовали «бывшими служителями культа». Из первых ринулся в бой верный знаменосец кочетовского «Октября» Дмитрий Стариков со статьей «Теркин против Теркина». Не промолчал и софроновский «Огонек». А события развивались в мрачном направлении. В 1964 году был отстранен от власти Хрущев, сразу же его зять Аджубей потерял пост редактора «Известий», газеты, которая первой, в обгон «Нового мира», хотя и с его согласия, напечатала «Теркина на том свете».

Но приходили и обнадеживающие вести. В ноябре 1963 года мы узнали, что В. Н. Плучек готовит в Театре сатиры спектакль по поэме «Теркин на том свете». Мне удалось побывать на нем дважды, и я видел изменения в постановке, которые вносились в нее, конечно, по желаниям Твардовского. Спустя много лет, в 1985 году, я получил от Марии Илларионовны Твардовской (о ней речь впереди!) составленный ею сборник «А. Твардовский. Письма о литературе». Это книга, которой нет цены. В ней опубликованы сотни писем – намного больше, чем в «Собрании сочинений», в том числе чрезвычайно важные письма к В. Н. Плучеку. Представляете себе, с каким интересом я через двадцать лет (!) сверял свои впечатления от спектакля с замечаниями, высказанными Твардовским!

[5] *Твардовский А. Т.* Собр. соч. Т. 3. М.: Худож. лит., 1978. С. 326.

Автограф М. И. Твардовской

Рецензии на постановку, появлявшиеся в печати, разумеется, были отрицательными. Я пробовал участвовать в этой дискуссии, да куда там! «Честная “Литературная газета”», как ее обычно называл Солженицын, не дала высказаться ни мне, ни моим единомышленникам. Должен признаться, что моя оценка спектакля не во всем совпадала с оценкой Твардовского. Собственно говоря, у него была не одна, а две оценки.

В письме, посланном в «Литературную газету», он взял спектакль под защиту, отверг обвинения его критиков и выразил благодарность и удовлетворение тем, что сделано театром. «Литгазета» напечатала это письмо, присовокупив к нему комментарий редакции, в котором оценка автора поэмы была названа «односторонней». А в большом письме к Плучеку от 7 января 1966 года Твардовский был полностью откровенен и высказал немало критических замечаний, причем достаточно резких.

Естественно, вначале сказаны слова, под которыми каждый из нас был бы готов подписаться, – «слова похвал и моего искреннего восхищения всем тем, что сделано Вами, Папановым (исполнителем роли Теркина. – *Л.* Ф.) и другими и что составляет безусловную и реальную ценность спектакля, о котором я ни от кого из видевших его не слыхал ни единого слова сомнения относительно идейной и художественной правомерности этого неожиданного, как редкий подарок, явления искусства»[6].

Замечания, высказанные им далее, мне казались мелкими, что совершенно естественно: не мог мой взгляд восторженного зрителя совпасть с требовательностью автора поэмы, который судил о сценическом перевоплощении его родного детища! Но в одном Твардовский был, как мне кажется, совершенно прав. «…Чего душа моя не приемлет, – писал он, – это “герлс” буржуазного того света с его “разложением”. Не нужно их в натуре. Они слишком безусловно телесны со всеми их “статями”, так что слова о том, что это “женский пол условный”, очень неубедительно звучат. Они должны быть “тенями”, мнимостью. Куда лучше они чувствуются без их зримой телесности, когда Теркин с другом подсматривают в щелку, что там делается, “за границей”»[7]. Я думаю, что здесь имел место чисто тактический просчет, который дал уже упоминавшемуся

[6] *Твардовский А. Т.* Письма о литературе. М.: Советский писатель, 1985. С. 294.

[7] Там же. С. 296-297.

Д. Старикову повод лишний раз поглумиться над Твардовским… И все же – низкий поклон Плучеку и его театру! По моим наблюдениям, спектакль шел часто, был сравнительно доступен и у многих оставил такой же след в памяти, как у меня.

В моем восприятии Твардовского одно из важнейших, если не самое важное, мест всегда занимало его отношение к Сталину и то, как оно запечатлено в его произведениях. Мне одно время представлялось, что имел место естественный процесс: по мере того как становился известен чудовищный размах и характер сталинских преступлений, менялось и отношение Твардовского к «великому вождю». Оказалось, что дело обстояло иначе и сложнее.

Со времени появления первых стихов Твардовского до смерти Сталина прошло около трех десятилетий – большая часть его творческого пути. Написана поэма «Страна Муравия», принесшая ему широкую известность, завоевал сердца миллионов «Василий Теркин», в наши души запали десятки стихотворений. Твардовский – один из руководителей Союза писателей, лауреат Сталинской премии 1-й степени, член Ревизионной комиссии ЦК КПСС, главный редактор самого авторитетного литературного журнала «Новый мир». И на протяжении всех этих лет имя Сталина не упоминается в стихах поэта. Ведь когда Твардовский описывает Москву:

С подземными магистралями,
Гудящими, как струна.
Большую с заводом Сталина
И малую – в три окна[8] —

это ведь не Сталин упоминается, а завод; как упоминание Сталинграда – это упоминание города, а не деятеля, имя которого ему присвоено.

Конечно, подобные умолчания обнаруживались и у других авторов. Когда Паустовский после смерти вождя осмелился напомнить, что в его произведениях отсутствует имя Сталина, в какую ярость пришла придворная челядь, все эти грибачевы, сурковы, бажаны: ишь, мерзавец, как исхитрился! Но тематика произведений Паустовского была такой, что отсутствие имени Сталина не очень-то бросалось в глаза. А Твардовский писал такие стихи, как «Кремль зимней ночью», «Москва», «Песнь о Москве», «9 Мая», где имя Сталина, можно сказать, само лезло в строку, но поэт его туда не пускал.

Те, кто представляет себе порядки сталинских времен, согласятся, что это факт исключительный, связанный с огромным риском. Если бы он обратил на себя внимание властей или стал предметом доноса, это могло бы означать не только крах литературной карьеры, но и угрозу превращения виновника в лагерную пыль. Славить Сталина было общеобязательной нормой, и, отказавшись это делать, Твардовский пошел, используя колоритное чичибабинское выражение, **«всуперечь потоку».**

Смысл и возможные последствия избранной им линии он прекрасно осознавал. Позднее он напишет:

Так на земле он жил и правил,
Держа бразды крутой рукой.
И кто при нем его не славил,
Не возносил —
Найдись такой![9]

[8] *Твардовский А. Т.* Собр. соч. Т. 3. М., 1978. С. 68.

[9] *Твардовский А. Т.* За далью даль // Собр. соч. Т. 3. М., 1978. С. 307.

Такие находились. Одного из них звали Александр Твардовский. Уж кто-кто, а автор «Василия Теркина» лучше других знал, как прочно была в годы войны внедрена официальной пропагандой во всеобщее употребление нерасторжимая формула «За Родину! За Сталина!». Однако – странное дело! – и в этой поэме, и в стихах военных лет «За Родину!» есть, а «За Сталина!» отсутствует.

В поэме «Теркин на том свете» провожатый Теркина напоминает ему:

С чьим ты именем, солдат,
Пал на поле боя.
Сам не помнишь? Так печать
Донесет до внуков,
Что ты должен был кричать,
Встав с гранатой. Ну-ка?

Помнил Теркин все, но ответил с солдатской прямотой:

– Без печати нам с тобой
Знато-перезнато.
Что в бою – на то он бой —
Лишних слов не надо.

Что вступают там в права
И бывают кстати
Больше прочих те слова,
Что не для печати…[10]

На первый взгляд может показаться поразительным, что тема Сталина появилась в поэзии Твардовского лишь после смерти вождя, когда перестала быть обязательной. В марте 1954-го исполнился год со дня смерти Сталина, и, конечно, не случайно именно тогда, в третьем номере «Нового мира», была напечатана одна из центральных глав поэмы Твардовского «За далью даль» – «Так это было», где сталинская тема стала во весь рост, как этого никогда не бывало прежде.

Я прошу прощения за длинную цитату, но речь идет о тексте, который после единственной публикации в журнальном номере, вышедшем более шестидесяти лет назад, оказался и напрочь забыт, и трудно доступен. Между тем эти стихи не только написаны на высочайшем поэтическом уровне, но и исключительно важны для понимания мироощущения и эволюции Твардовского.

Покамест ты отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть сорок лет и больше будь.
Хоть и жена давно, и дети,
Еще ты сын того отца,
Еще не полностью в ответе
За все на свете до конца.
Хоть за тобою попеченье

[10] *Твардовский А. Т.* Теркин на том свете // Собр. соч. Т. 3. М., 1978. С. 361.

И о делах, но всякий раз
Его совет, сужденье, мненье
Ты как бы держишь про запас.
Его в виду имеешь разум,
Немалый опыт трудных лет.

Но вот уйдет отец, и разом —
Твоей той молодости нет.
И тем верней, неотвратимей
Ты в новый возраст входишь вдруг,
Что был он чтимый и любимый
Отец – наставник твой и друг.

Так мы на мартовской неделе,
Когда беда постигла нас,
Мы все как будто постарели
В жестокий этот день и час.

В минуты памятные эти
Мы все на проводах отца
Вдруг стали полностью в ответе
За все на свете до конца…

В безмолвной скорби той утраты
Стояли мы, заполнив зал,
Тот самый зал, где он когда-то
У гроба Ленина стоял.
Стоял поникший и спокойный
С рукою правой на груди.
А эти годы, стройки, войны —
Все это было впереди…
<…>
Да, мир не знал подобной власти
Отца, любимого в семье.
Да, это было наше счастье,
Что с нами жил он на земле;
Что распознали мы любовно
Его средь нас в своей судьбе…
Мой сверстник, друг и брат мой кровный,
Я – о тебе,
Я – о себе[11].

Пронзительная искренность этих стихов не вызывает сомнений: без нее они не получились бы такими. Но важно видеть другое: они зримо диссонировали с линией официальной пропаганды.

Уже через неделю-полторы после сталинских похорон имя вождя начало исчезать с газетных страниц. Передовые статьи обходились без его цитат. Было выведено из употребления

[11] *Твардовский А. Т.* За далью – даль // Новый мир. 1954. № 3. С. 4–6.

неразделимое прежде словосочетание «сталинская конституция», его заменило другое: «советская конституция». А вскоре в постоянный обиход вошло выражение «культ личности». Хотя прямых указаний на то, какая личность имеется в виду, пока еще избегали, мало кто этого не понимал.

За год, минувший после смерти Сталина, генеральная линия официальной пропаганды выявила себя со всей полнотой и однозначностью. Десятилетиями вдалбливаемые догмы о том, что Сталин – источник всех наших побед, что только благодаря его мудрому руководству было отражено вторжение гитлеровских орд, что всем, что имеем, и самим своим существованием мы обязаны исключительно ему, следовало срочно и бесследно удалить из памяти. Процитированные строфы Твардовского шли вразрез с этой линией. Вновь подтвердилось, что он идет «всуперечь потоку».

Следующую фазу эволюции этой темы запечатлели гневно-иронические строфы о не названном по имени Сталине в «Теркине на том свете». Взору попавшего в потусторонний мир солдата предстает «отдел Особый»:

…Там – рядами по годам
Шли в строю незримом
Колыма и Магадан,
Воркута с Нарымом[12].

Когда Теркин интересуется тем, «кто же все-таки за гробом / Управляет тем Особым», он получает ответ, способный потрясти глубиной и емкостью. Оказывается, та же личность, которая загубила миллионы невинных репрессированных, «в вечность их списала», несет ответственность и за бессчетные жертвы войны, заполнившие отдел, что «обозначен / Был армейскою звездой».

Чтобы увидеть истоки перемен, произошедших между 1960 и 1963 годами, нужно помнить, что на это время пришлось знаковое событие – состоялся XXII съезд КПСС, с трибуны которого о преступлениях Сталина было сказано не в закрытом и оставшемся неопубликованным докладе, а вслух, во многих выступлениях, с оглашением потрясших общество фактов.

«Новый мир» Твардовского до последних дней своего существования отстаивал правду, прозвучавшую на XXII съезде, что после отстранения от власти Хрущева сделало этот журнал лидером оппозиционных сил страны и объектом преследования со стороны властей. Брежневское руководство, насмерть перепуганное крупицами правды, успевшими просочиться в общественное сознание, всеми силами стремилось замолчать злодеяния Сталина, стереть их в народной памяти. Любые упоминания об ужасах коллективизации, организованном голоде, арестах миллионов невинных людей, выселении народов, ущербе, нанесенном биологии, кибернетике, стали запретными. И тогда Твардовский вновь, но несравненно более остро, чем прежде, разошелся с установками Кремля и создал поэму «По праву памяти», которая на два десятилетия стала достоянием самиздата.

Благодаря моей дружбе с Юрием Буртиным, о которой я в дальнейшем расскажу подробнее, я имел возможность прочесть эту поэму в 1969 году, когда она была написана. На моих глазах рождалась и статья Буртина «Вам из другого поколенья», напечатанная в 87-м в связи с одновременным появлением поэмы «По праву памяти» сразу в двух московских журналах: в «Новом мире» и «Знамени». Эта поэма запечатлела последний и окончательный взгляд Твардовского на Сталина. Вспомним, что в «За далью даль» главный укор адресован не Сталину, а нам, возносившим ему неумеренную и безудержную хвалу.

[12] *Твардовский А. Т.* За далью даль // Собр. соч. Т. 3. М., 1978. С. 360.

Не те ли все, что в чинном зале,
И рта ему открыть не дав,
Уже, вставая, восклицали:
«Ура! Он снова будет прав…»?[13]

Если он «всем заведовал, как бог», то виноваты в этом мы, которые его обожествили: «Кому пенять, что он таков?». В последней поэме поэт говорит об «отце народов» с горькой иронией, обличая его двуличие и коварство:

Да, он умел без оговорок,
Внезапно – как уж припечет —
Любой своих проступков ворох
Перенести на чей-то счет;

На чье-то вражье искаженье
Того, кто возвещал завет,
На чье-то головокруженье
От им предсказанных побед[14].

Репрессии 30-х годов обрисованы совсем не теми красками, которые мы видели в поэме «За далью даль»:

И за одной чертой закона
Уже равняла их судьба:
Сын кулака и сын наркома,
Сын командарма иль попа…

Клеймо с рожденья отмечало
Младенца вражеских кровей.
И все, казалось, не хватало
Стране клейменых сыновей[15].

Сталин и здесь назван богом, но это злобный бог, требующий нескончаемых жертв: «оставь отца и мать свою», «предай в пути родного брата / И друга лучшего тайком». В «За далью даль» звучала мысль, что бог оказался человеком, таким же, как все смертные, «что и в Кремле никто не вечен / И что всему выходит срок». В последней же поэме внимание прикован к другому: сын-то за отца, может быть, и не отвечает, но дети, признавшие отцом выродка, изверга, убийцу миллионов ни в чем не повинных людей, обожествившие его, одобрявшие его, а то и соучаствовавшие в его злодеяниях, не могут не нести своей доли ответственности. И заканчивается эта глава строками, беспощадными и к вождю, и к себе:

Давно отцами стали дети,
Но за всеобщего отца
Мы оказались все в ответе
И длится суд десятилетий,

[13] *Твардовский А. Т.* За далью даль // Собр. соч. Т. 3. М., 1978. С. 308.
[14] *Твардовский А. Т.* По праву памяти // Новый мир. 1987. № 3. С. 194.
[15] Там же. С. 196.

И не видать ему конца[16].

Может быть, кто-нибудь упрекнет меня в том, что я превращаю мемуарный очерк в литературоведческую статью, неоправданно углубляясь в сравнение двух поэм Твардовского. Не могу с этим согласиться. Да, случилось так, что на предложение Твардовского написать в «Новый мир» что-нибудь на собственно современную тему я откликнулся лишь через несколько лет. Да, я тогда не мог знать, что за эти несколько лет Твардовский стал иным: что приглашал меня автор «За далью даль», а пришел я к автору «По праву памяти». Что Твардовский 1962 года одобрил замысел статьи о Пушкине и Польском восстании, а Твардовский 1968-го поддержал и пробивал в печать «Иронию истории» с ее откровенным осуждением Октябрьской революции, скудоумия ее организаторов и трагизма ее последствий.

Первым, с кем я поделился своим замыслом, был Владимир Яковлевич Лакшин. Вот ответ, который я от него получил:

Уважаемый товарищ Фризман!

Тема предложенной Вами статьи очень интересна. Конечно, вопрос о ее публикации зависит еще от многих условий – содержания, характера и тона изложения и т. и. Но в любом случае Вам следует прислать нам ее для ознакомления.

С уважением, В. Лакшин

27 ноября 1967 г.

Это письмо положило начало нашей дружбе, которая продолжалась до самой его смерти. Вскоре после скандала с «Иронией истории», о котором расскажу чуть ниже, я послал ему письмо с впечатлениями, вызванными его статьей о «Мастере и Маргарите», и кое-какими собственными размышлениями об этом романе. Он ответил:

Уважаемый Леонид Генрихович!

Вернувшись из отпуска, нашел Ваше письмо. Сердечное спасибо. Рад, что статья о «Мастере» пришлась Вам по душе. Ваши соображения относительно смерти Берлиоза остроумны и заслуживают внимания, хотя, быть может, сам автор и не рассчитывал на такое толкование этого эпизода. Ну, да и так бывает.

С искренним уважением, В. Лакшин

1 ноября 1968 г.

Когда в начале 1971 года редколлегию «Нового мира» разогнали, а Лакшина, так сказать, «трудоустроили» в журнале «Иностранная литература», он приглашал меня навещать его там. Запомнилась забавная формулировка этого приглашения: «поднимаетесь на такой-то этаж, входите в такую-то комнату и попадаете прямо ко мне в объятия». Я никогда не сотрудничал с «Иностранной литературой», и никаких редакционных дел у нас не было, а лишь чисто дружеское общение.

На отправленную ему «Жизнь лирического жанра» он откликнулся так: «Книгу я прочитал с интересом – много замечаний тонких и дельных, в особенности мне понравилась глава о Баратынском – и вообще Ваше коронное рассуждение о природе “объективного” и “субъективного” поэтического мироощущения, о том, что невзгода, погибшая любовь и проч. – для романтика только повод выразить огорчение всем погибельным несовершенствам мира. Это

[16] Там же. С. 198.

так и есть». А вскоре я получил от него монографию «Толстой и Чехов», присланную мне «с крепким дружеским рукопожатием».

В. Я. Лакшин

Из многого, что запомнилось в Лакшине, мне особенно дорог один эпизод, в котором высветилась его личность. Намного позднее, уже в пору горбачевской гласности, когда стало печататься многое, что прежде было запретным, его спросили: «Что вам больше всего хотелось бы написать?» – и он ответил: «Письма Короленко Луначарскому». Это может показаться мелочью, но те, кто помнит эти письма, согласятся, что в ответе Лакшина, как в капле воды, отразилась его политическая и этическая программа, можно сказать, вся его личность.

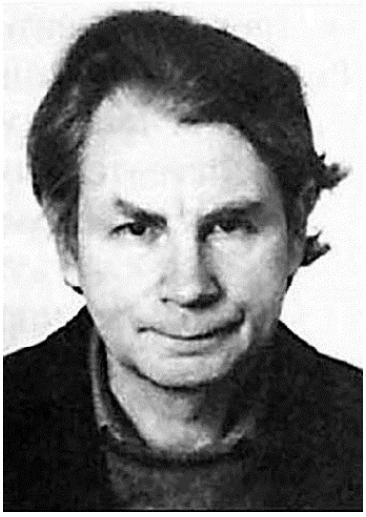
Прочтя и одобрив мою «Иронию истории», Лакшин свел меня с Юрием Григорьевичем Буртиным, который курировал в «Новом мире» отдел публицистики. Сказать, что этот человек стал моим другом, – значит сказать лишь малую часть правды. С первой встречи и до своей

смерти он был не только одним из самых близких людей, но и единомышленником в самом определенном и точном значении этого слова.

Те его письма, которые я буду приводить в дальнейшем, не могут дать полного представления о мере нашей идейной близости – она сильнее всего проявлялась в личном общении, в том абсолютном доверии, которое мы питали друг к другу. Бывало, я приходил к нему домой, чтобы читать там книги Солженицына, не подлежавшие выносу, и он, уходя на работу, оставлял меня на весь день в своей квартире, сказав на прощание: «Вот кофе, хлеб, в холодильнике колбаса, яйца, вернусь вечером». Я прочел тогда не только «В круге первом», но и подержал в руках корректуру «Ракового корпуса», набранного для публикации в «Новом мире», но не выпущенного в свет.

Основные факты биографии Буртина и предыстория его появления в «Новом мире» стали мне известны намного позже. Он родился в 1932 году в семье сельского врача и учительницы. После окончания Ленинградского университета восемь лет работал учителем литературы в железнодорожной школе для взрослых в Костромской области, на станции Буй. Там при поддержке других учителей и учеников (рабочих и машинистов железной дороги) предпринял, вероятно, первую в СССР попытку выдвижения «альтернативного» кандидата на выборах в Верховный Совет СССР – поэта Александра Твардовского; за эту выходку (разумеется, пресеченную) был исключен из партии по обвинению в ревизионизме.

В 1965 году представил диссертацию о творчестве Твардовского, точнее, о его связи с советской историей и сознанием народа, однако диссертация не увидела свет – на ее предварительном обсуждении в Институте мировой литературы (ИМЛИ) Буртин поблагодарил Андрея Синявского, который к тому времени был уже арестован, и это поставило крест на возможности защиты, но послужило сближению Буртина с диссидентской средой.



Ю. Г. Буртин

Начиная с 1959 года печатался в «Новом мире», а в 67-м Твардовский пригласил его на работу в редакцию. Вплоть до разгрома журнала Буртин вел раздел «Политика и наука», являясь фактическим заведующим отделом публицистики и членом редколлегии. Формально это было невозможно, так как он был беспартийным, но он входил в тот узкий доверенный круг, который определял направление редакционной политики. Благодаря ему и еще нескольким таким, как он, «Новый мир» был тем, чем он был.

Вскоре после того, как мы с Буртиным начали готовить к печати, вернее сказать, к пробиванию в печать мою «Иронию истории», я стал регулярно бывать в небольшой комнате, в которой размещался отдел публицистики, и ощутил себя членом стихийно сложившегося кол-

лектива единомышленников-оппозицио-неров. Люди, которые там встречались, как-то сразу становились вроде давними знакомыми, моментально возникала атмосфера доверительного общения. Впервые вступая в разговор, понимали друг друга с полуслова. Там я увидел публициста В. Кардина, историков А. Каждана и А. Некрича, литературоведа и писателя-сатирика З. Паперного, генетика В. Эфроимсона и еще многих людей, которых сближал их образ мыслей.

Со времени, когда Твардовский предложил мне писать для «Нового мира», прошло шесть лет и многое в стране изменилось. Отстранение от власти Хрущева, свертывание критики культа личности, преследования первых диссидентов, ужесточение цензурного нажима на печать делали любую критику происходивших процессов и даже размышления над ними вслух все более трудными, и не оставалось другого средства довести свою мысль до читателя, как прибегать к аллюзиям, иносказаниям, намекам. Тогда-то мы и стали самым читающим между строк народом, и ни в одном журнале не вычитывали этим способом так много, как в «Новом мире».

Сидели мы с Буртиным бок о бок долгие часы над моей статьей, ставшей нашим общим делом, решая обычную по тем временам задачу: как оставить в тексте побольше правды и вместе с тем сделать ее «проходимой»? А ситуация с каждым месяцем становилась все хуже. В начале 1968 года чехословацкую компартию возглавил А. Дубчек. Наши сталинисты с возрастающей подозрительностью следили за Пражской весной, их бросала в дрожь та поддержка, которую встречала у демократически настроенных слоев населения нашей страны идея создания социализма с человеческим лицом, а тем более опасение, что такие кошмарные явления, как свободная печать или ограничение диктатуры партийно-административного аппарата, могут, чего доброго, пересечь чехословацко-советскую границу. А тут еще появился и стал ходить по рукам первый меморандум Сахарова, провидчески указавшего на край пропасти, к которому мы неуклонно сползали.

Чистили мы с Буртиным злосчастную рукопись, искали какие-то приемлемые прикрытия для крамольных идей, и наконец она ушла в набор, а в начале мая появилась и корректура. Статья намечалась в пятый, юбилейный, номер журнала – в мае 1968 года исполнялось 150 лет со дня рождения Маркса. Прошел май, за ним июнь и июль, а номер все не появлялся. Живя в Харькове, я с опозданием узнал, что с ним случилось.

Когда шли уже чистые листы, экземпляр журнала попал в ЦК, и там мою «Иронию истории» прочел Большой Начальник. Прочел и – что не всегда случается с начальниками – понял содержание прочитанного. И охватил Большого Начальника Большой Гнев. Кое-какие колоритные детали запечатлел в своем дневнике тогдашний заместитель главного редактора «Нового мира» А. И. Кондратович. «Вызвал Галанов. Вел разговор Беляев». Вердикт выглядел так: «У Фридмана[17] в его статье “Ирония истории” получается, что эта ирония распространяется и на социалистическую революцию». Листы со статьей оказались уже отпечатаны. «Когда Беляев зачем-то вышел, я позвонил Мише (М. Н. Хитрову. – *Л.Ф.*). Да, именно эти листы. Беляев ходил, конечно, к начальству получать указания. Вернулся. Я сказал ему, что лучше все-таки оставить. Он молчит. Я ему: “Тогда принимайте решение сами”. Он посмотрел на меня внимательно и сказал: “Пускайте под нож”»[18].

Естественно, все происходящее привлекало к себе напряженное внимание А.Т. Твардовского. 21 апреля 1968 года, изливая в своих «Рабочих тетрадях» негодование по поводу происходившего в стране, он сделал такую запись: «И все не то, как бы ни старались деятели, неуклюже напяливающие на себя мантию деятеля, уже сделавшего свое дело (“трагедия” и “фарс”), воображающие, что верят в себя, и требующие от мира, чтобы и тот воображал это, стремящиеся обмануть себя насчет своего собственного содержания». И продолжил ее словами: «Выше

[17] Автор несколько искажает мою фамилию.

[18] *Кондратович А.* Новомирский дневник 1967-1970. М.: Советский писатель, 1991. С. 248-249.

цитированные строки – по верстке статьи Фризмана “Ирония истории”, наверняка не пройдет, хотя вся на Марксе и Энгельсе. Но слишком уж очевиден объект “иронии” – отнести ее к одному Китаю невозможно»[19].

Запись от 15 июня: «Возвращается Кондратович от Беляева – Галанова. Шесть листов под нож? Беляев: под нож…

– Вы же сами виноваты, печатаете этакие (“аналогии” в статьях о Гитлере и в “Иронии истории”)»[20].

17 июня он отправил возмущенное письмо в ЦК КПСС, а на следующий день по памяти внес его в «Рабочие тетради». Задержание «Иронии истории» и других материалов, набранных для публикации в журнале, писал он, «ничем не мотивировано, кроме в высшей степени странных соображений, высказанных т. А. Беляевым устно т. Кондратовичу относительно возможности превратного истолкования этих публикаций читателем»[21].

Упоминает об этих событиях и Лакшин. Рассказывая о тяготах, пережитых журналом, он напомнил о том, «что № 5 за 1968 год вышел “тощим” – он потерял почти треть своего объема, 208 страниц вместо обычных 288. Зато шестой номер по настоянию редакции, желавшей возместить ущерб подписчикам, оказался “толстяком” – 368 страниц как бы восполняли недобор предыдущей книжки. За полвека существования журнала такого, кажется, не бывало»[22].

Еще одна забавная деталь этой скандальной истории. Поскольку удаление моей статьи из уже отпечатанных номеров «Нового мира» производилось в спешке, из части тиража она была вырезана не полностью, и какое-то количество подписчиков получило экземпляры с примерно половиной моего текста. Это вызвало в ЦК новый взрыв ярости, крики об «идеологической диверсии» и тому подобное. Как рассказал мне Буртин, тогдашний ответственный секретарь редколлегии Хитров собрал коллекцию из трех номеров: номер с полным текстом моей статьи, каким он планировался к выпуску; номер без нее, каким его получило большинство подписчиков, и номер-уродец – с куском моей статьи.

Лакшин рассказывал мне, что и позднее цензоры, присматриваясь к подозрительным «новомирским» материалам, ворчали: «Что, опять ирония истории?» А кто-то из крупных партийных бонз даже сказал ему: «Вы должны быть нам благодарны за то, что мы остановили эту статью. Если бы она появилась в печати, вас бы уже ничто не спасло». Можно поверить: до разгрома «Нового мира» оставалось всего полтора года.

В кабинете Лакшина я единственный раз в жизни видел Твардовского. Это было весной или в начале лета 1969 года. Во время нашей беседы внезапно распахнулась дверь, и стремительно вошел, как бы ворвался человек, до того знакомый мне только по портретам. Я знал, что у редактора «Нового мира» такая манера: если ему был нужен кто-то из сотрудников, он не вызывал его к себе, а шел к нему.

Увидев, что Лакшин не один, он выразительным жестом показал: мол, зайду позже и сделал попытку уйти. Но Лакшин его удержал, усадил во второе кресло и представил меня словами: «Это автор “Иронии истории”». В глазах Твардовского мелькнул озорной огонек, он бросил какую-то насмешливую реплику, упомянул, что сорвать публикацию властям удалось в последний момент, когда значительная часть тиража была уже отпечатана. Зашел разговор о Пушкине и Польском восстании. Оказалось, что Твардовский хорошо помнил и об этом, он сам сопоставил оба сюжета, посетовал, что не удалось напечатать в «Новом мире» подборку откликов на «Слово о Пушкине», в которую было включено и мое письмо.

---

[19] *Твардовский А. Т.* Рабочие тетради // Знамя. 2003. № 8. С. 159. См. также с. 169.

[20] Там же. № 9. С. 130.

[21] Там же. С. 131.

[22] *Лакшин В.Я.* Твардовский в «Новом мире». М.: Правда. 1989. С. 33.

Вскоре после скандала с запрещением моей статьи я получил от Буртина такое письмо:

Дорогой Леонид Генрихович!

Я очень сожалею, что начало Вашего сотрудничества в «Новом мире» оказалось не совсем удачным. (Кстати, получили ли Вы 50% гонорара?) Но давайте будем рассматривать его именно как начало, надеясь на то, что продолжение будет счастливее.

Нет ли, в частности, у Вас желания что-то написать для нашего рецензионного раздела «Политика и наука» или для раздела «Коротко о книгах»? Подумайте, посмотрите и, если что-то Вас в этом плане заинтересует, напишите мне. Ежели окажетесь в Москве, заходите. Буду рад.

С искренним уважением, Ю. Буртин

При этом он, однако, предупредил меня, что если я хочу в дальнейшем писать для «Нового мира», то делать это лучше под псевдонимом. Фамилию мою, сказал он, запомнили хорошо, и то, что выйдет из-под моего пера, читать будут так, что ничего сказать не удастся. Так я и поступил.

Вскоре после вторжения в Чехословакию войск Варшавского пакта я отослал в «Новый мир» рецензию на книгу Е. Черняка о контрреволюционных интервенциях «Жандармы истории». Эта рецензия (она называлась «Походы бесславные и бесплодные») появилась в пятом номере журнала за 1970 год, когда расправа над «Новым миром» уже свершилась, и в журнале не было ни Твардовского, ни Буртина. Чехословацкая тема звучала в материале так прозрачно, что я по сей день ума не приложу, как он все же проник в печать. К тому же псевдоним, которым я подписал рецензию (Д. Александров), был сконструирован из имени свергнутого вдохновителя Пражской весны. Конечно, додуматься до этого читателю было мудрено, но не мог же я подписать рецензию «А. Дубчиков»!

Здесь я хочу передать слово Буртину, который дал такую характеристику этой статьи и обстоятельств ее появления, какую я никогда бы дать не сумел. Это было сделано в его «Письме в редакцию “Континента”»:

Давно уже приходила мне в голову мысль написать – в полумемуарном, в полуисследовательском роде – о публицистике «Нового мира» второй половины 60-х годов, к чему, по щедрости судьбы, я оказался причастен. При теперешнем историческом беспамятстве, на почве которого буйно цветет уже новая мифологизация нашей истории, это, пожалуй, не было бы лишним. Но, взятая в целом, это слишком большая тема, и нужен, по слову Твардовского, «запас покоя, чтоб ей отдаться без помех». Однако 25-летие Пражской весны побуждает положить на бумагу одно более локальное воспоминание. Адресую его журналу, который, предоставив свои страницы многим из бывших «новомирских» авторов (А. Солженицын, В. Гроссман, В. Некрасов, В. Войнович, Н. Коржавин, В. Корнилов и др.), возродил и развил в 70-е годы в условиях бесцензурной печати ту литературную традицию и те тенденции в публицистике, за которые подвергся разгрому журнал Твардовского. Тем более что именно в «Континенте» мы в былые годы читали о задавленной советскими танками Пражской весне то, что глубоко отвечало нашим собственным чувствам и мыслям.

Быть может, кто-нибудь еще сумеет в полной мере передать, как мы, люди 60-х годов, воспринимали август 68-го, вторжение советских войск в Чехословакию. Это была наша боль, наш стыд, наше отчаяние. Имена А. Дубчека, О. Черника, Й. Смрковского заслонили для нас в ту пору самые лучшие отечественные имена; переснятая откуда-то фотография Яна Палаха, мальчика-самосожженца из Праги, висела тогда во многих московских домах как образ нашей вины и орудие самоистязания. Но ни единым словом нельзя было даже намекнуть на эти чувства в открытой печати, симулировавшей «единодушное одобрение» преступной акции бреж-

невского руководства и столь же единодушную ненависть к «происками антисоветских сил». Статья в «Новом мире», о которой я хочу рассказать, была в этом смысле едва ли не единственным исключением. Она – выразительный пример того, как в условиях жесточайшей цензуры, достигшей в ту пору верха изощренности, журнал Твардовского умудрялся говорить своему многотысячному читателю очень и очень многое из того, что было нужно сказать.

Одним из главных приемов эзопова языка тогдашней «новомирской» публицистики была аллюзия: острая современная тема обсуждалась на каком-нибудь отдаленном, политически нейтральном материале, камуфлировалась реалиями иных эпох и стран. И хотя цензура в свою очередь тоже научилась распознавать этот прием, и в числе ее запретительных знаков появилась оригинальная формула «неконтролируемый подтекст», все же ей далеко не всегда удавалось угнаться за изобретательностью злокозненного журнала. Сильно мешало ей то обстоятельство, что значительную часть своих вылазок публицисты «Нового мира» совершали в невиннейшем жанре рецензии, пересказывая и цитируя какую-то недавно вышедшую и, следовательно, должным образом залитованную книгу. Ведь не запрещать же одобрительное изложение того, что сами только что разрешили! Так было и в данном случае. Первая «пристрелка» к теме состоялась в рецензии-коротышке за подписью Э.Р. (инициалы кандидата технических наук Э. М. Рабиновича) на книгу польского автора Зенона Косидовского «Когда солнце было богом» (№ 4, 1969). В качестве центрального рецензент извлек из книги рассказ «об одном из первых в истории политических реформаторов Урукагине, который сверг власть жрецов и провел в Лагаше (Месопотамия. – *Ю.Б.*) реформы в пользу трудящихся». Хотя Урукагина и не думал посягать на установившийся социальный строй, его «либеральные реформы вызвали среди рабовладельческой аристократии остальных шумерских городов сильнейшую тревогу». В результате царь города Уммы «внезапно напал на Лагаш, опустошил его, а Урукагину, вероятно, взял в плен и убил» – прямая параллель с подвигами «рабовладельческой аристократии» Москвы, Берлина, Варшавы, Будапешта и Бухареста, внезапно напавшей на «либеральную» Прагу и не остановившейся перед арестом законных руководителей суверенного государства, судьба которых некоторое время была неизвестна.

Но это был, понятно, лишь краткий сигнал «другу-читателю». Случай высказаться гораздо серьезнее и шире представился год спустя, когда издательство «Международные отношения» выпустило книгу Е. Б. Черняка «Жандармы истории (Контр-революционные интервенции и заговоры)». Рецензию на нее написал харьковский литературовед Л. Г. Фризман, в то время активно сотрудничавший с нашим отделом. Наиболее ярким фактом его сотрудничества была статья «Ирония истории», остановленная цензурой, а затем и агитпропом ЦК по обвинению все в том же неконтролируемом подтексте. В ней усматривался – и, надо признать, вполне справедливо – намек на то, что Октябрьский переворот повторил участь многих прежних революций – несовпадение результатов с исходными намерениями участников. Поскольку редакция отказалась дать замену этой и еще двум задержанным статьям по отделу публицистики, майский номер «Нового мира» вышел в августе и в уменьшенном на 1 /3 объеме. После этой многомесячной тяжбы имя автора было, конечно, памятно нашим надзирателям, и уже поэтому они обязательно сделали бы на рецензии стойку, пришлось придумывать ему очередной псевдоним. Дело происходило в начале 1970 года. В Чехословакии добивают ревизионистов. Вот характерные заглавия тогдашних статей в органе ЦК КПЧ – газете «Руде право» (воспроизвожу по сборнику «Правда торжествует» (!), выпущенному в 1971 году Политиздатом): «Маска сброшена. И. Пеликан исключен из КПЧ», «Как формировался право-оппортунистический центр в Брно», «Карта, которая была и будет бита», «Кому принадлежал Эдуард Гольдштюккер» и т. п. А у нас? Вовсю работает зловещее постановление апрельского пленума ЦК КПСС 1969 года, предусматривающее «чистку» в средствах массовой информации. Изгоняют с работы «подписантов». В ноябре того же года исключен из Союза писателей А. И. Солжени-

цын. Наконец, февраль 70-го – разгром «Нового мира», что означало завершение реставрации тоталитарной диктатуры в нашей стране.

В этих условиях уже было недостаточно только выражать отношение к августовскому злодеянию 1968 года: важно было решить, что делать дальше, а для этого осмыслить новую историческую ситуацию, проанализировать вероятное воздействие бандитских действий Кремля на ход общественного развития как там, в задавленной нашими танками стране, так и здесь. Вот этому главным образом и была посвящена статья Д. Александрова (Л. Фризмана) «Походы бесславные и бесплодные», несколько выдержек из которой позволю себе привести.

«Очень важным и сложным является вопрос о результатах интервенций, об их влиянии на последующий ход исторического процесса. Е. Черняк подходит к его решению с учетом всего многообразия анализируемого в книге материала и его диалектической противоречивости. Он не оставляет без внимания “той роли, которую сыграла интервенция в торможении темпов общественного прогресса. Это замедляющее действие проявлялось и во временной реставрации отживших политических и общественных порядков, и в таком же временном предотвращении их крушения”, а также в том, что “интервенция во многом способствовала победе более консервативного из возможных вариантов общественного развития и зигзагообразного пути исторического процесса…” Вместе с тем автор убедительно доказывает, что “ни в один из исторических периодов интервенционизм не приводил к достижению своих главных целей, а то, чего удавалось добиться, по сути дела перечеркивалось сравнительно скоро в дальнейшем процессе общественного развития”».

Чуть дальше это общее соображение конкретизируется, заодно обрастая узнаваемыми подробностями:

«Конечно, можно указать немало случаев, когда “реакционное безумие, заранее обреченный бунт против законов истории, какими являются контрреволюционные интервенции”, приводили к быстрой и, казалось, легко добытой победе. Это случалось в ситуациях, когда военное превосходство интервентов было подавляющим (! – *Ю.Б.*), когда мощь интервентов поддерживалась внутренней контрреволюцией, готовой сотрудничать с иноземцами против революционных устремлений собственного народа».

Тогдашний читатель легко мог подставить сюда имена высокопоставленных чехословацких коллаборационистов, знакомых ему по частым похвальным упоминаниям в нашей прессе: В. Билян, Д. Кольдер, О. Швестка, А. Индра и др.

«Но конечные итоги подобных нашествий были вовсе не те, к которым стремились их вдохновители. Во-первых, “реакционная интервенция разоблачает антинациональный характер ее союзника – внутренней контрреволюции”. Во-вторых, “иностранное вмешательство вызывает новое расслоение в реакционном лагере, способствует отходу от него тех элементов, узкоклассовый эгоизм которых не подавил окончательно патриотические чувства, и которых останавливает перспектива соучастия в национальной измене”. Наконец, действия интервентов помимо их воли способствуют обогащению политического опыта масс, пониманию непреходящих ценностей революции, отторгнутых у них иностранными штыками, а сопротивление интервентам, пусть даже недолгое и безуспешное, закаляет силы народа, готовит его к новой, победоносной борьбе».

Это – о том, что происходит (будет происходить!) там, где демократическая революция оказалась пресечена, задушена благодаря «братской помощи» соседей-рабовладельцев. Это был наш тайный привет чехам, наше «Товарищ, верь!». Но поверить, заново собраться с духом важно было и нам самим. А для этого оценить ситуацию и в форме исторических воспоминаний попытаться заглянуть в будущее.

«Далекими от желаемых обычно оказывались и те последствия, которые имели контрреволюционные вторжения для самих стран-интервентов. “Контрреволюционная интервенция, – говорит Е. Черняк, – в конечном счете всегда противоречила и вредила национальным инте-

ресам страны, которая ее осуществляла, укрепляя, пусть временно, позиции реакционных сил, замедляла общественный прогресс или способствовала утверждению особо мучительного для народных масс пути развития… Однако в истории нередко возникали ситуации, когда участие в контрреволюционных интервенциях противоречило государственным интересам даже в том смысле, в каком они понимались господствующими классами". Так, для Испании XVI века платой за интервенционную политику оказалась утрата положения великой державы и превращение ее во второразрядное государство».

Там, где материала книги не хватало для продолжения мысли, «Д. Александров» к месту вспоминает о критической стороне своих рецензентских обязанностей:

«Не получил в книге Е. Черняка сколько-нибудь полного освещения и вопрос о воздействии интервенций на передовые общественные слои в странах, предпринимавших вторжение. Между тем опыт истории свидетельствует, что интервенции не раз приводили к размежеванию в рядах внутренней оппозиции, отношение к вторжению являлось лакмусовой бумажкой для выявления подлинной революционности. Псевдооппозиционные круги в такие моменты клонились к сближению с властями, поддерживая их в борьбе против "внешнего" врага, а действительно прогрессивные силы под влиянием того саморазоблачения реакции, которым неизменно являлась интервенция, глубже, чем когда-либо, осознавали меру своей исторической ответственности, расставались с иллюзиями, становились непримиримее, бескомпромисснее, решительнее противостояли насилиям и произволу».

Так оно и будет в последующие 15 лет: одни пойдут в «патриоты», и власти раскроют им свои объятия, другие – в диссиденты, во внешнюю и внутреннюю эмиграцию. Да и вообще, как видим, анализ и прогноз, заключенный в этих выдержках, вполне подтвердился дальнейшим ходом событий.

Еще два слова в заключение.

Статья Л. Фризмана пошла в набор не позднее марта 1970 года. Уже месяц как по негласному решению ЦК «Новый мир» был обезглавлен, разгромлен (см. об этом: «Октябрь», № 11, 1990): смещена и заменена благонадежными людьми преобладающая часть редколлегии, с резким заявлением протеста ушел Твардовский. Но рядовые сотрудники редакции еще оставались на своих местах и вели последние, арьергардные бои – уже на два фронта, пытаясь напоследок «протащить» то, что считали наиболее важным. По разделу публицистики – наряду со статьей гонимого тогда М.Я. Гефтера, с «рецензией» Г. С. Лисичкина, обосновывавшего крамольную мысль о необходимости рынка, с очерком писателя-вологжанина А. В. Петухова о трагической судьбе вепсов, малого северного народа, уже в послевоенные годы лишенного родины (так и не удалось его напечатать), вместе с повестью В. Быкова «Сотников», помещенной в той же книжке журнала, и явилась в некотором смысле нашим завещанием.

Ю. БУРТИН, сотрудник редакции «Нового мира» в 1967-1970-е годы, редактор раздела «Политика и наука»[23]

Когда в 1971 году редколлегия «Нового мира» была обезглавлена, и Твардовский ушел из журнала, преданные ему сотрудники покинули редакцию вместе с ним. Среди них, разумеется, был и Буртин. Через некоторое время он стал одним из редакторов отдела литературы издательства «Советская энциклопедия». Я писал статьи для «Краткой литературной энциклопедии», и между нами восстановились деловые контакты.

К этому времени относится эпизод, ярко отразивший обстановку, в которой мы жили. Я написал для «Краткой литературной энциклопедии» статью «Элегия». Когда я увидел ее напечатанной, у меня глаза полезли на лоб: после моего текста шла строка «Пример рус. Э. –

[23] Континент. 1993. № 75. С. 325-331.

“Признание” (1823) Е. А. Баратынского», и далее был перепечатан ее полный текст (41 стих!). В энциклопедической статье, где на счету каждый знак, – и вдруг такая расточительность!

А случилось вот что. В последний момент, уже из верстки, была исключена большая статья «Эмигрантская литература». Нужно было срочно чем угодно заполнить освободившееся место. Делали, что возможно: к статье «Эмблематика литературная» наляпали в качестве иллюстраций кучу эмблем. Так и вышел том энциклопедии без статьи «Эмигрантская литература».

М. И. Твардовская

Когда после смерти Твардовского была создана комиссия по его литературному наследию, я переслал туда фотокопии двух автографов, которыми обладал: письмо и дарственную надпись на присланном мне экземпляре отдельного издания поэмы «Теркин на том свете». Так мой адрес стал известен Марии Илларионовне Твардовской, которая немедленно меня нашла; между нами началась переписка, продолжавшаяся более пятнадцати лет. Положа руку на сердце, признаюсь, что никогда не понимал и сейчас не понимаю, чем заслужил расположение этой необыкновенной женщины (точнее сказать, совершенно уверен, что не заслужил ничем). Но давно известно, что нечаянный дар судьбы мы обычно ценим выше, чем то, на что имеем право.

Она присылала мне посмертные издания Твардовского, делая на каждом из них своим крупным четким почерком дарственную надпись. Если какой-то сборник переиздавался, я получал и новое издание. Прислав том «Воспоминаний об А. Т. Твардовском», трогательно извинялась за задержку: дескать, какие-то незваные гости расхватали не положенные им экземпляры, а вы, заслуживший больше других, терпеливо, не напоминая о себе, ждали своей очереди. Хранится у меня и надписанный Марией Илларионовной конверт с портретом Твардовского, выпущенный к 70-летию со дня его рождения. Она сама готовила комментарий к письму Твардовского ко мне, помещенному в шестом томе собрания его сочинений, педантично согласовывала со мной каждое слово. Приводимое ниже письмо, полученное мной в начале наших отношений, позволяет, как мне кажется, ощутить ее душевное богатство, ее глубинную интеллигентность.

Дорогой Леонид Генрихович!

Хочу думать, что не считаете Вы меня существом неблагодарным и черствым: получила, что желала, и успокоилась.

Совсем не успокоилась. Все время думала, что я перед Вами в долгу. Но сначала ожидала получения книг, а потом дважды переболела гриппом, который дал какое-то дурное осложнение на легкие, ослабившее меня до крайней степени. Подробно о болезнях не люблю, но в данном случае – это мое оправдание перед Вами. Посылаю Вам на память об Александре Трифоновиче книгу его стихов (3-е изд-е) и хочу, чтобы Вы, насколько позволит жизнь, и в будущем держались тех же взглядов, симпатий и чувств, которые были во времена «Нового мира» (того).

Всего Вам доброго. Твардовская М. И. 23 марта 1972 г.

Спустя много лет в моих руках оказался автограф Твардовского со следующими двумя строками:

Так, как хочу, не умею.
Так, как могу, не хочу.

У меня возникло страстное желание их опубликовать, что я и сделал в тексте статьи, которая называлась «Десять слов». Предварительно я, естественно, спросил разрешения у Марии Илларионовны. Вот ее ответ:

Дорогой Леонид Генрихович!

Ничего не имею против использования строк Твардовского в Вашей работе. Стихи эти пока не опубликованы: рукопись лежит в ожидании такого издательства, которое могло бы полиграфически обеспечить столь своеобразный материал: наброски и т. д.

В посылаемой книге отсутствует письмо А. Т., адресованное Вам и входившее в шестой том его собрания. Но, если будущая Ваша книга, как сообщаете Вы, представит собой «сборник творческих деклараций», думаю, что в письмах о литературе такие «декларации» Вы легко обнаружите.

Желаю Вам всего доброго и, конечно, успеха Вашей будущей книге.

М. И. Твардовская. 6 октября 1985 г.

P. S. Ссылку к приводимой цитате сделайте на архив А. Т.

P. P. S. Если бы о замеченных ляпсусах этой книги могли бы Вы сообщить, – была бы и благодарна, и много обязана. М. Т.

Моя статья «Десять слов» с публикацией двустишия Твардовского была напечатана в Ученых записках Смоленского пединститута «Русская филология».

Помимо тех чувств, которые оставили во мне письма Марии Илларионовны, я много слышал о ней от людей, знавших ее лучше, чем я, да и многократные упоминания в «Рабочих тетрадях» Твардовского, что называется, западали в душу. Пересказывать это я, разумеется, не стану, скажу только, что единственное слово, которым я могу выразить свое отношение к ней, – благоговение.

Вернусь к Буртину. В 1978 году я послал ему составленный мной сборник «Литературно-критические работы декабристов», а также сообщил, что ВАК утвердил решение Ученого совета МГУ о присуждении мне докторской степени. Вот каким был его ответ:

Дорогой Леня!

Спасибо за книжку – довольно элегантную с внешней и, не сомневаюсь, весьма интересную с внутренней стороны. И поздравляю – во-первых, с книжкой, а во-вторых (и еще больше), с докторскими «корочками».

Я за Вас очень рад и представляю себе дело так: Вы прошли и закончили очень важную, но трудную, а поначалу и тягостную, полосу своей биографии. Она обеспечила Вам нормальные условия (по нашим стандартам) существования и работы, однако при всей своей результативности («Баратынский», «Элегия» и др.) это все же предварительная, подготовительная полоса. Теперь, когда Вы еще молоды и обладаете всеми необходимыми предпосылками, надо вступать в новую и главную полосу жизни, то есть работы, ибо для мужчины эти вещи в общем совпадают. И тут главное – храбрость. Не остаться в плену у старого, сделанного, не побояться открыть чистую страницу, замахнуться на что-то очень большое, даже непосильное. Понимаю всю провокационность этого совета, но слишком много видишь вокруг себя людей, способных, даже очень, но живущих вяло, в четверть силы, утопающих в суете, в мелочах. Подавляющее большинство.

Другое дело – где оно, это Дело, в чем оно состоит? Нахождение его – штука сугубо индивидуальная, акт открытия, и тут я уже ничего вымолвить не могу. Да и нельзя его просто «найти», надо до него «дожить» (хотя, с другой стороны, дожить можно лишь с внутренней установкой на это).

Вот какие философические размышления вызвали у меня Ваши «корочки». Недостаток этих рассуждений в том, что они относятся ко всему роду человеческому, но, с другой стороны, вызваны убеждением в Вашей силе. Поэтому простите некоторую напыщенность моего слога: она – от важности того рубежа, который Вы перешли, и от моих дружеских чувств.

Крепко жму руку.

Ваш Ю. Буртин

16 июня 1978 г.

Я тогда не осознал, что это было одно из самых главных, самых мудрых писем, какие мне довелось получить. Совет «замахнуться на что-то очень большое, даже непосильное» пропустил мимо ушей. Понадобилось почти сорок лет, чтобы «дожить» до его исполнения. Но я дожил и работаю над книгой, создание которой мне сейчас представляется и может оказаться выше того, на что я способен. Спасибо, дорогой Юра, за убеждение в моей силе! Выложусь до конца, но постараюсь оправдать твою веру в меня.

Приход к власти Горбачева и последовавшая за ним полоса идеологических послаблений, так называемой гласности, утрата Коммунистической партией ее командных позиций и падение советской власти ознаменовали для Буртина последний и самый славный период его деятельности, когда смог наконец развернуться его колоссальный идейно-творческий потенциал. Яркие публикации быстро выдвинули его в первый ряд лидеров демократического движения. После возвращения Сахарова из горьковской ссылки он стал одним из его ближайших и наиболее радикально настроенных сподвижников. Эти события повлекли за собой обогащение наших отношений новым, ранее не представимым содержанием.

В 1992 году Буртин выпустил сборник статей и интервью, озаглавленный «Год после Августа. Горечь и выбор». Помнящие те времена засвидетельствуют правоту моих слов: самые прогрессивные политики и публицисты тогдашней России собрались под знамя Буртина. Их было больше двух десятков, я назову лишь некоторые имена: Юрий Афанасьев, Леонид Баткин, Елена Боннер, Зоя Крахмальникова, Кронид Любарский, Лариса Пияшева, Эльдар Рязанов, Василий Селюнин, Лев Тимофеев, Лилия Шевцова. Эта книга лежит сейчас передо мной. На титульном листе надпись: «Дорогому Леониду Генриховичу Фризману в знак старой дружбы и солидарности, на память о наших “новомирских” диверсиях. Ю. Буртин».

Через три года он подарил мне сборник своих статей «Новый строй». Они содержали анализ Перестройки, глубинную характеристику августовского путча, ельцинскую власть, едко определенную как «театр номинальной демократии». Вместе с Г. Водолазовым Буртин ввел в оборот популярнейший термин 90-х годов – «номенклатурный капитализм».

Получив в 1995 году сборник статей, выпущенный к моему 60-летию, он откликнулся на него так:

Дорогой Леня!

Твой юбилейный сборник – по нынешним временам приятная неожиданность. Значит, жива еще добрая традиция русской науки, значит, жив еще в ученой братии дух корпоративной солидарности и товарищества! А то уж могло показаться, что корпоративность ныне – привилегия бюрократов и бандитов. Слава богу, что это не так. Сам сборник производит очень серьезное и хорошее впечатление. Многие статьи – и по темам, и по именам авторов – хочется прочесть. Ну и весьма внушителен твой «послужной список» на ниве литературоведения и педагогики, а сочетание академической учености и эстетизма с гражданской публицистикой делает твой творческий облик особенно привлекательным – по крайней мере, для меня.

Словом, по случаю юбилея тебя есть с чем поздравить. Жизнь удалась – и целиком за твой счет, без малейших поблажек с ее стороны, за счет твоих дарований и неустанного, вызывающего восхищение труда. Да и в дальнейшем, я надеюсь, еще много чего будет тобой сделано. Как сказал наш А. Т.,

Не все на прилавке, А есть и на базе.

Крепко жму руку и обнимаю.

Твой Ю. Буртин 2 декабря 1995 г.

Он уже был в это время тяжело болен. В 1988 году перенес первый инфаркт, за которым последовало еще три. Он не мог выходить из дому, а позже я узнал, что в последние годы жизни у него работало лишь 13% сердечной мышцы. Но до последнего дыхания он оставался в строю. Будучи главным редактором еженедельной газеты «Демократическая Россия», пригласил к сотрудничеству в ней и меня. Осуществить эти планы мы не успели, потому что финансировавший газету Г. Каспаров неожиданно отказал ей в поддержке, и ее выпуск приостановился.

Тогда Буртин, неведомыми мне путями изыскавший какие-то средства, возобновил издание своего еженедельника под названием «Гражданская мысль». Меньшим тиражом, меньшего объема, но газета вновь стала выходить. Мне, живущему в Харькове, печататься в ней было сложно. Цены на железнодорожные билеты подскочили выше крыши, компьютеры были редкостью, связь по е-мейлу не налажена. И все же несколько статей я там опубликовал.

21 августа 1993 года исполнилось 25 лет со дня вторжения войск Варшавского пакта в Чехословакию. Я посвятил этой мрачной годовщине статью «21 августа 1968 года как дата советской истории», в которой смог наконец, не прибегая к эзоповой манере, сказать все, что думал и тогда, и сейчас об этой бандитской акции брежневского руководства. В той же газете я напечатал свою первую статью о поэзии Бориса Чичибабина, озаглавленную его строчкой «Я живу на земле Украины». Позднее я написал о Чичибабине много, но эта статья оказалась единственной, которую я успел ему показать: через год с небольшим после ее появления его не стало.

Естественно, я выступал как политический публицист и дома, отстаивал демократическое развитие Украины, дружбу и сотрудничество с Россией, резко возражал против насильственной украинизации и дискриминации русского языка и русской культуры. Большинство этих статей публиковалось в харьковских газетах, некоторые печатались (или перепечатывались) в Киеве, а в последние годы и в Канаде, где вызвали значительный интерес. Десятка два

статей, написанных в период с 1993-го по 2000-й годы, были собраны в небольшой книжке «Эти семь лет». Она имела посвящение: «Дорогому Юре Буртину, другу и соратнику».

В марте – мае 1996 года в газете «Время» печатались мои статьи «На кой дьявол нам кайзер», «Вторая сторона президентской медали», «Ползет по земле зараза». Первые две из них были памфлетами, направленными против тогдашнего президента Украины Л. Кучмы. Я доказывал, что на постсоветском пространстве институт президентства себя не оправдал и ведет к возникновению антидемократических, авторитарных режимов. Третья была посвящена разоблачению национализма, который я характеризовал как предтечу фашизма, его начальную стадию. Газетные вырезки с этими тремя статьями я отправил Буртину и получил от него письмо, лишний раз подтвердившее всю глубину нашего с ним взаимопонимания и единомыслия:

Дорогой Леня!

Спасибо за вырезки. Все прочтено и усвоено. Действительно, национализм – зараза из зараз, и действительно, наше повсеместное президентство – форма нового господства правящих верхушек, подчинения демократии их интересам. Как все эти сволочи похожи на просторах Родины чудесной – хоть создавай транснациональную дем. оппозицию всем им сразу.

Жму руку.

Твой Ю. Буртин

9 июля 1996 г.

В 1999 году вышла в свет моя книга «Борис Чичибабин. Жизнь и судьба», которую я привез в Москву и просил передать Буртину вместе со сборником «Эти семь лет». В ответ получил такое письмо:

Дорогой Леня!

Вчера получил твое письмо и книжку о Чичибабине, залежавшуюся в ИМЛИ в ожидании оказии. Двойное спасибо, а если прибавить к нему честь посвящения (чем я мог бы, понятно, только гордиться), то и тройное. Желаю осуществиться этому замыслу.

Встречное предложение или просьба. Я тут придумал маленькую, всего из одного вопроса, анкету в связи с 90-летием А. Т. Твардовского. Отвечают на нее бывшие авторы и редакторы «Нового мира», вообще активные шестидесятники (в том числе ученые, актеры и др.) разных нынешних взглядов – от Солженицына до Горбачева.

Вопрос такой: Ваш **нынешний** (из 2000 года) взгляд на Твардовского как поэта и редактора, на его (и его журнала) роль в литературной и общественной жизни, а также и в Вашей собственной творческой судьбе. Никаких ограничений в объеме – от нескольких строк до десятка и более страниц. Никакой обязательности в смысле полноты охвата темы – каждый пишет о том, что ему близко. Единственная просьба: в случае готовности ответить сделать это в течение ближайших пары месяцев (думаем об издании этих ответов и других материалов, появившихся нынче в связи с этим юбилеем, отдельной книжкой).

Послать можешь мне (сохранив – на случай превратностей почты – копию у себя).

Доходит ли до вас «Знамя» (№№ 6-8 и, вероятно, 10) с публикацией рабочих тетрадей А.Т.? Думаю, что она представит для тебя интерес.

Еще раз спасибо.

Поклон твоему семейству.

Твой Юра 5 августа 2000 г.

Я, разумеется, отослал требуемый материал, не подозревая, что менее чем через два месяца прочту в «Известиях» заметку, сообщавшую о кончине «публициста великой эпохи».

Разумеется, задуманная им книга, к участию в которой он привлек меня и еще многих (от Солженицына до Горбачева!), без него не состоялась.

Хотя состояние его здоровья не было тайной, трагическая развязка оказалась внезапным ударом судьбы и потрясла многих. Горестная статья, озаглавленная «Мы уходим», появилась в «Московских новостях», и написал ее Леонид Баткин. Григорий Явлинский напечатал в «Новой газете» статью «Помните Юрия Буртина», в которой прозвучали такие слова: «Он был из последних, для кого совесть, благородство и достоинство были жизненным правилом.

<…> Не имея формального повода считать себя учеником Юрия Григорьевича, я многим в себе обязан именно ему».

И последнее, о чем я хотел бы рассказать. В старое доброе время у меня была большая аспирантура. От желающих у меня поучиться отбоя не было, а киевское начальство не мешало работать, как стало это делать в последние годы. Поэтому я успел подготовить более шестидесяти докторов и кандидатов наук и, конечно, стремился в каждого вложить кусочек души. Но особенно мне хотелось, чтобы кто-нибудь из них написал диссертацию о Твардовском. Я никогда не навязывал своим «детям», как я про себя называл моих аспирантов, нравившихся мне тем. Предлагая, всегда предупреждал, что разрешаю неограниченно капризничать и отказываться от всего, что будет не по душе. «Брак должен быть по любви», – говорил я им.

Высматривать достойную исполнительницу пришлось довольно долго, но в конце концов я нашел ту, которую искал. Зовут ее Яна Романцова. Не могу сказать, что она была подготовлена к аспирантуре лучше других. Мы так учим студентов, что на подготовленных аспирантов рассчитывать не приходится. В этом смысле она была такой, как все, – не лучше и не хуже. Но ее человеческие качества оказались на высоте. Она так прониклась доверием, которое я ей оказываю, что превзошла сама себя.

И вот, когда диссертация была защищена, я решил, что тема не исчерпана и что на этом материале мы с ней уже вместе напишем еще и книгу. Ведь в огромной литературе о Твардовском такой книги, какую мы задумали, исследующую его деятельность как литературного критика, не было. Кроме того, на наше неслыханное везение, как раз в это время публиковались «Рабочие тетради» Твардовского – бесценный материал, сопоставимый по значению с дневниками Никитенко, Кюхельбекера, Чуковского, записными книжками Вяземского, а в чем-то их даже превосходящий. И ни один исследователь к этим золотым залежам пока не прикоснулся. Книга, которую мы написали, называлась «Требовательная любовь» – потому что именно такой представлялась нам любовь Твардовского к литературе и к писателям.

Поскольку ко времени, когда мы занялись этой работой, Марии Илларионовны Твардовской давно не было в живых, я решил воспользоваться теми нитями, которые когда-то связывали меня с «Новым миром», и посвятил в наши замыслы дочерей поэта – Валентину и Ольгу. Старшая, Валентина, была доктором исторических наук и человеком более-менее известным. Общаться с ней мне не довелось. Чем занималась Ольга, я не знаю, во время моих наездов в Москву, она приглашала меня в гости и помогала, чем могла. Жила она в квартире, оставленной дочерям Александром Трифоновичем, в знаменитом московском высотном доме на Котельнической набережной. Там жили многие известные писатели и ученые, и трудно сказать, сколько мемориальных досок украшает его стены. Ясно только, что счет идет на десятки.

В человеческом плане я к обеим этим женщинам никаких чувств, кроме благодарности за внимание, испытывать не могу. Они были очень довольны нашим замыслом написать книгу о Твардовском, а познакомившись с ней, популяризировали и расхваливали ее. Но имел место факт, вызвавший во мне такой всплеск негодования, что наши контакты прервались. Случилось вот что. Вскоре после выхода нашей книги я получил от них бандероль, содержавшую роскошное издание «Рабочих тетрадей», т. е. дневников и писем Твардовского за 1941-1945

годы. На титульном листе – надпись: «Леониду Генриховичу Фризману – с добрыми пожеланиями – Валентина и Ольга Твардовские». В книгу было вложено такое письмо:

Уважаемый Леонид Генрихович!

Хочу еще раз извиниться за прерванный телефонный разговор. Но основное я успела сказать.

Вы, вероятно, переоцениваете наши «связи и возможности». Посылаем Вам книгу, подготовленную нами, и на которую в Москве почти никто не откликнулся, – «такие времена».

Всего Вам доброго. Ольга Твардовская. 15 апреля 2006 г.

Не могу сказать, что за «связи и возможности» она имела в виду: совсем не помню того разговора. Если она сочла, что я интересовался их возможностями реализации книги, то это чистое недоразумение. Напротив, тираж оказался заниженным, имевшиеся экземпляры расхватали, как горячие пирожки, а из Смоленска, родины поэта, приходили слезные просьбы присылать еще и еще, а у нас уже ничего не было.

Нет! Причина моей обиды, ярости, негодования, возмущения (нужное подчеркнуть) была вызвана той книгой, которую они мне прислали! В ней были собраны записи Твардовского, сделанные за годы войны, а название ей дали – «Я в свою ходил атаку…». Напомню, что это стих из поэмы «Теркин на том свете». Отдавая ее в печать, Твардовский был готов к тому, что она наткнется на скептический и недоброжелательный прием: «что за чертовщина!», «странный, знаете, сюжет», «ни в какие ворота», – и объяснял смысл своего решения:

И такой сюжет для сказки
Я избрал не потому
Чтобы только без подсказки
Сладить с делом самому.

Я в свою ходил атаку
Мысль одна владела мной:
Слажу с этой, так со всякой
Сказкой слажу я иной[24].

Как можно было не понять, не ощутить, что главное слово здесь – **«своя»,** что эта атака не имеет ничего общего с той, в которую ходил Александр Матросов, что строка эта не о войне, а о творческом процессе и никак не годится в заглавие сборника материалов военных лет? Сейчас, по прошествии десяти с лишним лет, готов признать, что проявил чрезмерную горячность. Но я был глубоко обижен за Твардовского, который оказался не услышан, не понят, искажен самыми близкими ему людьми.

Что касается Яны Романцовой, то мы удачно распределили с ней наши соавторские обязанности, за время нашего общения и сотрудничества она очень выросла, так что мы дружим и творчески взаимодействуем по сей день. Я много рассказывал ей о Буртине, и по общему согласию нашей книге было предпослано такое посвящение:

Посвящается светлой памяти Юрия Буртина,
друга, сподвижника
и исследователя Твардовского.

[24] *Твардовский А. Т.* Собр.соч. Т. 3. М., 1978. С. 378.

Обложка книги о Твардовском-критике

Притупленное жало Овода

В 1953 году я стал студентом и продолжил учить в институте немецкий язык, которому учился и в школе. Но мне было ясно, что без английского не проживешь, и им я пытался овладеть самостоятельно, читая в оригинале английские книги. Выбирал, понятно, такие, которые любил и лучше знал. Одной из них был роман Э. Л. Войнич «Овод».

Чем пристальнее я присматривался к английскому тексту, прежде известному мне в русском переводе, тем ощутимее мои глаза вылезали из орбит. Обнаружилось нечто, казавшееся поначалу прямо-таки невероятным, но получившее вполне достоверное объяснение.

«Овод», как известно, произведение богоборческое. Его главный герой говорит: «Жизнь нужна мне только для того, чтобы бороться с церковью. Я не человек, а нож. Давая мне жизнь, вы освящаете нож»[25].

На русский язык роман был переведен в 1898 году; в дореволюционной России любые формы антирелигиозной пропаганды не просто отторгались, но подвергались гонениям, и неудивительно, что «Овод» попал тогда к русскому читателю в немножко кастрированном виде. Не могу сказать, было ли это результатом деятельности цензуры, или сами переводчики «освобождали» текст от наиболее одиозных формулировок.

Естественно было бы предполагать, что революция покончит с подобной практикой, и советский читатель получит роман таким, каким его написала Э. Л. Войнич. Но нет! Он продолжал печататься с купюрами, сделанными при царизме. А ведь «Овод» тогда стоял в одном ряду с такими романами, как «Молодая гвардия» и «Как закалялась сталь», и был любимым орудием коммунистической пропаганды! Мало того, в этом ряду «Оводу» принадлежало свое и очень важное место. Первые три-четыре десятилетия существования советской власти были временем активной, можно сказать, жестокой борьбы с религией и церковью. Второго произведения, которое бы с таким талантом и такой страстностью мобилизовало бы людей, и особенно молодежь, на эту борьбу, просто не было.

Популярность романа поддерживалась всеми мыслимыми средствами. В некоторых изданиях к его тексту прилагались целые «хрестоматии» восторженных высказываний таких деятелей, как Зоя Космодемьянская, молодогвардейцы Георгий Арутюнянц и Валерия Борц, Александр Маресьев, Юрий Гагарин, дружно рассказывавших, чему их научил герой прославленного романа. Валентина Терешкова называла роман Войнич «самым потрясающим, запавшим в душу». Словом, «Овод» – это было святое. И вдруг выясняется, что это святое читатель получал в подпорченном виде.

Хочу сразу предупредить: я не утверждаю, что те дефекты, на которые я укажу ниже, касались всех послереволюционных изданий романа. По сведениям «Краткой литературной энциклопедии», их и к 1962 году было более 100, а сейчас Интернет уже сообщает о 150. Понятно, что проверить их все немыслимо, я подержал в руках десяток или чуть более, нижеприводимые цитаты даются по следующей книге[26]. Переводчик, как и во многих подобных случаях, не указан.

Приведу лишь несколько примеров, которые дают достаточное представление о тенденции, породившей эти искажения и купюры.

Вот записка, которую Артур адресовал Монтанелли перед своим бегством в Южную Америку, – очень важный документ, фигурирующий в романе дважды: в тюрьме, на предсмерт-

---

[25] См. сноску 26.

[26] *Войнич Э.* Овод. Роман / Послесловие С. Марвич. М.: Военное изд-во Министерства вооруженных сил СССР, 1949. 308 с. Страницы оригинала также указаны в тексте по изданию: *Voynich E.L.* The Gadfly. Moscow: Progress Publishers, 1964. 344 p.

ном свидании, Риварес вновь предъявит его кардиналу. В советских изданиях печатался такой текст:

«Я верил в вас, как в бога, а вы лгали мне всю жизнь» (с. 65).

А вот что написала Войнич:

«Я верил в вас, как в бога. Но бог – это глиняный идол, которого можно разбить молотком (God is a thing made of clay, that I can smash with a hammer, p. 89), а вы лгали мне всю жизнь».

Переживания Артура, как они были напечатаны в переводах:

«И из-за этих-то лживых, рабских душонок он вытерпел все муки стыда, гнева и отчаяния!..» (С. 64.)

А вот неискаженный текст:

«Из-за этих-то лживых, рабских душонок, из-за этих немых и бездушных богов (these dumb and soulless gods, p. 89) он вытерпел все муки стыда, гнева и отчаяния».

Во время последнего разговора с Монтанелли Риварес бросает ему обвиняющие слова: «Обратитесь к своему Христу. Он требовал все до последнего кодранта, так следуйте же его примеру (Go back to your Jesus; he exacted the uttermost farthing, and you'd do the same, p. 284-285)». Эта фраза исключена при переводе. Посмеиваясь над Монтанелли, призывающим бога, Риварес «советует» ему: «Громче зовите» – и усиливает ироническое звучание этого совета предположением: «Он, может быть, спит (perchance he sleepeth, p. 292)». Переводчики, видимо, сочли такое предположение неуважительным для бога и исключили его.

И еще один, может быть, самый поразительный пример. Сцена расстрела. Все считают, что Риварес уже мертв. Но он неожиданно поднимает голову и обращает к Монтанелли последний обвиняющий вопрос: «Падре, вы… удовлетворены?» (с. 270). Но в неискаженном тексте романа этот вопрос звучал иначе, с несравненно большей обвиняющей силой: «Падре, ваш бог удовлетворен? (Padre, is your God satisfied? P. 299)».

Обнаружив все это, обиженный за такое обращение с его любимой книгой харьковский студент состряпал и направил в «Литературную газету» небольшую статью, или заметку, которая в меру моего тогдашнего умения разоблачала эту позорную ситуацию. Сотруднику, который со мной беседовал (если мне не изменяет память, его фамилия была Зверев), она поначалу понравилась. Но потом не то он сам, не то какое-то более высокое начальство сообразило, что приближается 90-летие со дня рождения Э. Войнич, и в канун такой торжественной даты сообщить ей (а она была еще жива!), что советская власть десятилетиями печатала ее прославленный роман с искажениями, внесенными цензурой царских времен, значило бы оскандалиться с головы до ног.

Вопрос решили так, как это обычно делалось при советской власти. Статью мою не напечатали, но мне сообщили, что какому-то издательству предписано выпустить в свет двухтомник писательницы, в котором читатель найдет неискаженный текст романа. Наверное, это было сделано, и всю эту постыдную историю безмолвно и бессовестно замяли.

Молодой Баткин

29 ноября 2016 года ушел из жизни выдающийся историк, культуролог, общественный деятель Леонид Михайлович Баткин. Весть о понесенной утрате потрясла многих. Григорий Явлинский признался, что беседы с Баткиным всегда были для него событием. Баткин был бескомпромиссным борцом за идеалы гуманизма и демократии, одним из самых убежденных сподвижников Андрея Дмитриевича Сахарова и после его смерти выпустил сборник, в котором обобщены конституционные идеи этого великого человека.

Рылеев писал в свое время, что «подвиг воина гигантский / И стыд сраженных им врагов / В суде ума, в суде веков / Ничто пред доблестью гражданской»[27]. В моих глазах Леня Баткин – воплощение именно этого качества. Я высоко ценю его эрудицию, его талант исследователя, его писательское и ораторское мастерство, но в этой книге вы прочтете о многих, кому эти свойства были присущи не в меньшей мере. А вот в «доблести гражданской», в бестрепетности определения своей жизненной позиции, в неспособности на любые сделки с совестью он не превзойден никем.

Л. М. Баткин

Я не видел Баткина-политика, что называется, в деле. Другие расскажут о его деятельности в «Демократической России», в Межрегиональной депутатской группе, о том, как он вел митинги, разил противников в политических дискуссиях. А я попытаюсь говорить о том, о чем вы не услышите больше ни от кого или почти ни от кого, – о молодом Баткине, о становлении его личности, происходившем на моих глазах пятьдесят-шестьдесят и более лет назад.

После окончания школы Леня, или, как его тогда часто называли, Лека, поступил на исторический факультет Харьковского университета. Видимо, тогда у него уже как-то вырисовывались контуры его будущих научных интересов, в связи с чем самой близкой ему оказалась кафедра истории Средних веков. Его пестунами и, можно сказать, старшими друзьями уже в студенческие годы стали два доцента этой кафедры: мой отец Генрих Венецианович Фризман и его близкая приятельница Любовь Павловна Калуцкая. Я учился на филфаке, Леня, живший поблизости, был частым гостем в нашем доме, с середины 50-х годов мы с ним принадлежали к одному «студенческому братству». Он был постоянным потребителем библиотеки отца, богатой и художественной литературой, и историческими раритетами. Мы оба занимались научной

[27] *Рылеев К. Ф.* Стихотворения. М.: Сов. писатель, 1948. С. 20.

работой, точнее сказать, стучались в двери науки, причем Данте очень рано вошел в сферу его научных интересов, обогатив их известным филологическим «привесом». Даже шутливые стихи, которые мы все пишем в таком возрасте, он писал терцинами.

В отцовской библиотеке были богатейшие по тем временам коллекции поэтических сборников Гумилева, Ахматовой, Пастернака, Волошина, молодого Антокольского, немало литературы, в те времена именовавшейся антисоветской. За семью замками хранилась такая сверхзапрещенная книга, как «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида, вчистую опровергавшая официальную концепцию Октябрьской революции и роль в ней Сталина. Понятно, что многие книги определяли и темы разговоров.

Далеко ли от восхищения Гумилевым до размышлений об учиненной над ним расправы или от проникновения в творчество Ахматовой и Зощенко до соответствующей оценки постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград»? Так что именно в нашем доме закладывались основы оппозиционного идеологического мира Баткина, которые советская власть травила в нем до последнего своего издыхания.

Он был обо всем осведомлен: что сестра моего отца погибла в лагерях, а дед лишь чудом избежал той же участи, что многие наши близкие друзья: В. Г. Трамбицкая, И. С. Гончарова, Л. Я. Лившиц стали жертвами репрессий; что и на отца, и на меня лежали в «органах» доносы, влекшие за собой и «следственные действия».

На наши с Леней студенческие годы пришелся XX съезд КПСС с докладом Хрущева о культе личности и его последствиях. И ни для кого из нас прозвучавшие там разоблачения не были откровением. Знали мы прекрасно, что Зиновьев и Каменев, Бухарин и Рыков никакими шпионами не были и что все их признания получены под пытками, как и признания освобожденных и реабилитированных после смерти Сталина «врачей-вредителей». Поражались не тому, что узнали правду, а тому, что она была открыто **признана.**

Помню, я обратил тогда внимание Лени на поэму Бехера «Лютер» в переводе Пастернака. В ней есть такая строфа:

О торге отпущеньями, грехе
Неверия, налогом непосилье
Открыто было сказано в листке
То самое, что дома говорили[28].

И посмеивались: мы тоже услышали в докладе Хрущева «то самое, что дома говорили».

В оценках людей этический порог Баткина был высоким, а главное, неколебимым. Любые сделки с совестью он не только исключал для себя, но и не прощал другим. Приспособленцы вызывали у него брезгливость. Запомнилась такая реплика: «Эта позиция слишком удобна для того, чтобы быть порядочной». Однажды в разговоре с ним отец сказал, что тогдашний декан исторического факультета С. И. Сидельников – человек порядочный. Баткин отозвался вопросом: «А сколько евреев он взял на работу?»

Зная Леню, как немногие, берусь уверенно вскрыть подтекст этого вопроса. Дело не в заботе о трудоустройстве евреев, а в убеждении Баткина, что порядочность человека должна подтверждаться его действиями, его готовностью противостоять любым проявлениям несправедливости. Если такой готовности нет и на соответствующие действия он не способен, его порядочность копейки не стоит.

Сходно сложились судьбы наших с ним первых книг. Ленина книга «Данте и его время» вышла в 1965 году в «Научно-популярной серии» издательства «Наука», а я в 66-м выпустил в той же серии свою – «Творческий путь Баратынского».

[28] Немецкая демократическая поэзия / Пер. Б. Л. Пастернака. М.: Гослитиздат, 1955. С. 218.

После окончания университета Леня около десяти лет преподавал в Харьковской консерватории и создал там «Клуб любителей искусств консерватории» – сокращенно КЛИК. Я иногда бывал на его заседаниях, и особенно мне запомнилось то, на котором я впервые увидел Чичибабина. Борис Алексеевич читал свои стихи, которых я прежде совсем не знал. Среди них были «Крымские прогулки» с их обжигавшими сердце строками: «“Где ж вы, – кричал, – татары?” / Нет никаких татар», – и «Клянусь на знамени веселом», известное под названием «Не умер Сталин». Несмотря на то что он вынужденно сделал некоторые купюры, исключив, в частности, строки: «Пока во лжи неукротимы / Сидят холеные, как ханы, / Антисемитские кретины /И государственные хамы», – впечатление было потрясающим.

Б. А. Чичибабин

Я позднее много раз слышал стихи Чичибабина в его исполнении, и мне кажется, что есть два стихотворения, которые он читал несравненно. Чтобы не навязывать свое мнение, приведу оценки других слушателей, впечатления которых полностью разделяю.

В первом случае это жена поэта Лилия Семеновна Карась-Чичибабина, во втором – его видный французский исследователь Жорж Нива.

«Он прочел стихи “Клянусь на знамени веселом” (“Не умер Сталин”). Я замерла – в те дни подобные темы еще оставались опасными и рискованными. Надо было видеть, как он читал, как гневно звучал его голос на обличавшем рефрене, как “аввакумовски” ткнул себя в грудь на строках: “А в нас самих, труслив и хищен, не дух ли сталинский таится…”»[29].

«Вдруг появилась высокая фигура раненой птицы – это был Чичибабин. Он сразу начал читать поэму “Плач об утраченной родине”. Я был взволнован <…> Я не говорю, что Чичибабин абсолютно прав, я думаю совсем иначе, но я его понимаю. И этот долгий плач по России выворачивает душу»[30].

[29] Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. Харьков: Фолио, 1998. С. 134.

[30] Там же. С. 271.

После чтения, продолжавшегося около часа, Борис Алексеевич, видимо, почувствовав усталость, спросил: «Есть ли в зале Новожилов?» С места поднялся невысокий юноша, впоследствии ставший прославленным мастером художественного слова, сменил Чичибабина на трибуне и продолжал наизусть читать его стихи.

С этого дня Чичибабин навсегда вошел в мой мир. Мне не довелось с ним тогда познакомиться, но я, сначала через Баткина, а потом и некоторых других знакомых (З. Каца, Л. Болеславского, В. Добровольского), добывал его стихи и усердно их распространял. Я печатал их на папиросной бумаге: закладка давала до десяти копий! – и одаривал людей своего круга.

Лишь спустя много лет у меня сложились с Борисом Алексеевичем дружеские отношения, незадолго до его смерти я напечатал, а он прочел мою первую статью о нем; в 1999 году вышла моя книга «Борис Чичибабин. Жизнь и поэзия», а в 2013-м я имел честь вместе с вдовой поэта подготовить для серии «Литературные памятники» сборник «Борис Чичибабин в стихах и прозе».

Поскольку с 1968 года Леня жил в Москве, книгу о Чичибабине, а также и мою книгу о Галиче «С чем рифмуется слово ИСТИНА» я отправил ему по почте. Когда при очередном наезде в столицу я, по обыкновению, заехал к нему на улицу Миклухо-Маклая, он предался воспоминаниям о том, что оба эти поэта бывали у него в гостях, причем Чичибабин, по его рассказам, был сдержан и немногословен, а Галич, напротив, очень возбужденный и в приподнятом настроении, наливал себе водку «из вот этого графина».

Вернусь к харьковскому периоду Лениной биографии. Хотя он был любимцем студентов и пользовался авторитетом у коллег, над его головой сгущались тучи. Его терпеть не мог секретарь Харьковского обкома КПСС Н.А. Сероштан, причем, как рассказывал мне сам Леня, для этого были основания: он разговаривал с партийным сановником без всякого трепета, вступал в спор и даже перебивал его.

Результатом стали драматические события. В Институт искусств приехала комиссия, которую возглавлял В. С. Корниенко. Не могу сказать определенно, получила ли она установку обкома произвести в институте погром, или Корниенко действовал с намерением сместить со своего поста действующего ректора В. Н. Нахабина и захватить его кресло. Но когда выяснилось, что новым ректором назначен Корниенко, Баткин был возмущен. Он считал, что если Корниенко руководил проверкой института и дал рекомендацию снять Нахабина, то он не имеет морального права сам занять это место.

Леня рассказал мне о бурном объяснении, которое произошло между ними, и о том, что он бросил Корниенко в лицо: «Я не считаю вас порядочным человеком!» Понятно, что на его дальнейшем пребывании в институте был тем самым поставлен крест. Леню сняли с работы за «грубые идеологические ошибки», в том числе за «пропаганду чистого искусства и формализма». Но еще прежде, чем он переселился из Харькова в Москву, случилось нечто, о чем нельзя не рассказать.

Леня раздобыл и прочел книгу Корниенко «О сущности эстетического познания», которая содержала основные идеи докторской диссертации автора, а также ее автореферат, и эти «труды» произвели на него такое впечатление, что он решил напечатать о них статью в «Вопросах литературы». Я был вхож в этот журнал и раньше, и больше, чем он, и содействовал ему, как мог. Хотя редакция относилась к Лене очень уважительно, острота предлагаемого материала все же вызвала у нее опаску, и ему поставили встречное условие: чтобы это была не рецензия, а обзор трех-четырех книг. Делать нечего, Леня засел за новые труды по эстетике, которые могли бы составить компанию книге Корниенко.

Хорошо помню наш тогдашний разговор. Он сказал: «Я просто в растерянности. Все, что я читал, настолько слабо и даже смешно, что не знаешь, на чем остановить выбор…» Выбор он, разумеется, сделал, статью одобрили и утвердили к печати. Если мне не изменяет память,

именно для этого материала был создан раздел «Трибуна литератора», который – и это уж точно впервые! —предваряла «шапка»: «В этом разделе все статьи печатаются в дискуссионном порядке». Я читал немало Лениных статей и высоко ценю его как мастера политической полемики, знаю бронебойную силу его мысли, разящей противника наповал, но эта статья написана совсем по-другому и, кажется, не имеет аналогов в публицистическом творчестве Баткина. В ней не улавливается гнев, она пронизана презрением к скудоумию разбираемых в ней трех авторов, и если я углубляюсь в нее, то лишь для того, чтобы показать: Леня умел писать и так!

Статья называлась «Кто изящней: верблюд или лошадь?». Критических оценок Корниенко и других авторов ней почти нет, во всяком случае, не они бросаются в глаза. Баткин просто цитирует их с немногословным ироническим комментарием, и этого достаточно. Он их «раздевает» и выставляет на посмешище. Ограничусь двумя примерами.

«Теперь дадим В. Корниенко высказаться о поэзии. "…Мы должны правильно понять диалектику материального и идеального. В. Маяковский, например, использовал образ парохода, названного именем Т. Нетте, для выражения мыслей и чувств". "В произведении В. Маяковского использован образ парохода, носящего имя Т. Нетте, но материальной формой, выражающей идейное содержание стихотворения, является язык". О чем тревожится В. Корниенко? – спрашивает Баткин. – Да о том, чтобы читатель, плохо подкованный по философской линии, не решил вдруг, что Маяковский превратил реальный государственный пароход в стихотворение»[31].

«"Автомобиль всегда обращен одной стороной вниз, – уверенно констатирует исследователь, – движение вверх для него не свойственно, вперед он движется лучше, чем назад, свободно движется вправо и влево <…> Следовательно, симметрия автомобиля возникает как перенесение свойств одних материальных предметов на другие в производственной практике человека". Как видим, В. Корниенко достаточно нескольких фраз, чтобы вывести из суждения типа "дважды два – четыре" целый каскад умозаключений, которым в оригинальности уж никак не откажешь. К примеру:

1. "Тело самого человека" – это "животное".

2. Комары летают "прямолинейно".

3. Раки, очевидно, "вперед движутся лучше, чем назад", а рыбам, птицам и млекопитающим – белкам и обезьянам – не присуще "движение вверх" <…> И так далее, при желании читатель легко продолжит этот реестр»[32].

Обиженный В. Корниенко попробовал пуститься в спор, послал в «Вопросы литературы» встречную статью и наплел в ней такого, что получил еще одну оплеуху – от редакции журнала: был отмечен «характерный для общего уровня научных размышлений автора перевод камбалы в разряд млекопитающих, а также переселение львов и тигров в лесостепную полосу. И констатируем, что скорбный список животных, которым изрядно перепало в прежних работах В. Корниенко, теперь значительно пополнился. Даже та "изящная породистая лошадь", которая в автореферате его докторской диссертации ставилась в пример "горбатому верблюду", отныне, ввиду отсутствия "силы и крепости", сама, так сказать, разжалована в верблюды»[33].

С 1968 года Леня работал старшим научным сотрудником Института всеобщей истории АН СССР, но отношение к нему оставляло желать лучшего. Причиной этого, несомненно, была его независимая политическая позиция, выразившаяся, в числе прочего, в участии в 1979 году в самиздатском альманахе «Метрополь». Хотя он был ученым с мировым именем, членом Американской академии по изучению Возрождения, автором книг, которые переводились и

[31] *Баткин Л.М.* Кто изящней: верблюд или лошадь? // Вопросы литературы, 1967. № 8. С. 169.

[32] Там же. С. 171.

[33] Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 129.

премировались в Италии, ему не без влияния КГБ и партийных инстанций препятствовали в защите докторской диссертации. Лишь после падения советской власти он получил степень доктора по совокупности печатных работ.

В эти нелегкие годы, да и позднее, важную положительную роль в его судьбе играл Юрий Николаевич Афанасьев. Сейчас имя этого выдающегося борца за демократическое переустройство общества стали как-то подзабывать, но в 80-х и 90-х годах оно гремело по всему Союзу. Он был ректором крошечного Историко-архивного института, но его политическая активность не раз навлекала на него недовольство и раздражение самого Горбачева. Афанасьев сделал Леню ведущим научным сотрудником своего института, а позднее, когда создал заслуживший всемирную известность Российский государственный гуманитарный университет, где был сначала ректором, а потом президентом, переманил к себе всех крупнейших ученых Москвы, работавших в области гуманитарных наук, а Леня там стал главным научным сотрудником. Его называли тогда правой рукой Афанасьева.

После переезда Лени из Харькова мы виделись только в Москве. Я наезжал туда довольно часто и стремился не упустить ни одной возможности встречи с человеком, общением с которым и мнением которого неизменно дорожил. Если не считать моей жены, Леня был единственным, кто присутствовал на обеих моих защитах. Когда я в 1967 году защищал кандидатскую, он еще жил в Харькове, а в 77-м, в год моей докторской защиты, – был уже вполне обосновавшимся москвичом.

Из многих наших встреч, которые когда-то были более-менее регулярными, расскажу о такой. Я оказался у него в гостях 24 сентября 1970 года. В ходе разговора он спросил: «А сколько тебе лет?» Я ответил: «Мне сегодня исполнилось тридцать пять лет». Он ахнул. До меня только позднее дошло все то, что он сообразил мгновенно. Дело было не только в том, что Библия определяет продолжительность жизни человека в семьдесят лет, и тридцать пять – это полжизни. Важнее другое. «Божественная комедия» начинается словами: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Когда Данте написал эти слова, ему было тридцать пять лет.

Я, конечно, стремился прочесть как можно больше написанного Леней. Запомнилась страстная статья «Год без Сахарова». Когда Юрий Буртин выпустил сборник «Горечь и выбор», в котором приняли участие самые блистательные политики и публицисты, второй, сразу после статьи Афанасьева, была в нем напечатана статья Баткина «Россия на распутье». А когда не стало Буртина, Баткин откликнулся на его кончину в «Московских новостях» статьей «Мы уходим».

Российская политическая периодика практически не доходила до Харькова, но мне нетрудно было представить себе, как реагирует Баткин на чеченскую войну, на приход Путина к власти, на его расправу с НТВ, на оба процесса Ходорковского, на сворачивание того уровня демократии, который продолжал существовать при Ельцине, на террористические акты и политические убийства. Горько сознавать, что больше он уже ничего не напишет.

Память о Лихачеве

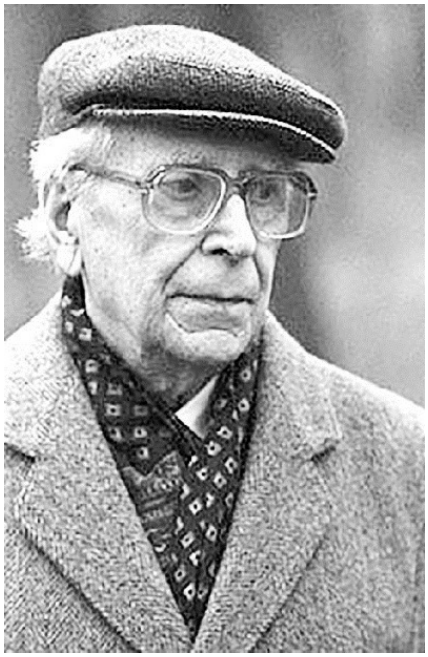
О память сердца! ты сильней Рассудка
памяти печальной…

Батюшков

Я впервые увидел Лихачева 3 августа 1963 года. Предыстория этой встречи такова. Я был тогда учителем вечерней школы и писал, как умел, диссертацию о поэзии Баратынского. Родная советская власть по причине моей нежелательной национальности заботливо уберегла меня от возможности поступить в аспирантуру, научного руководителя у меня не было, и я обращался за помощью, к кому мог. Приезжал в Москву и Ленинград, звонил совершенно незнакомым людям, известным мне лишь по фамилиям, и говорил: «Я учитель из Харькова, пытаюсь заниматься исследовательской работой, не согласитесь ли уделить мне время для встречи». И мера интеллигентности в тогдашней научной среде была такой, что ни одного раза ни от кого я не получил отказа. А ведь все мои собеседники были люди с громкими именами и, конечно, очень занятые – я-то выбирал в собеседники лучших из лучших.

Вот так, можно сказать, с улицы я попал к Дмитрию Евгеньевичу Максимову. Надо уточнить, что к этому времени я проработал над Баратынским несколько лет, вник в его эпоху, изучал рукописи, бывал в Мурановском музее, наладил контакты с его директором К. В. Пигаревым, который очень сочувственно относился к моей деятельности. Я даже составил словарь поэтического языка Баратынского – не такой, какие теперь пекут, как пироги, с помощью компьютера, а вручную, имея в качестве образца «Словарь языка Пушкина».

Целью той моей поездки и темой беседы с Максимовым была задумка собрать в 1964 году конференцию, приуроченную к 120-летию со дня смерти Баратынского. Когда я посвятил Дмитрия Евгеньевича в эти планы и вообще в ход своих дел, он сказал: «Да у вас уже столько наработано! Вы должны написать о Баратынском книгу. Я вас сведу с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Он член редколлегии “Научно-популярной серии”, выпускаемой издательством “Наука”, там она вполне может быть издана». И, увидев мое смущение, добавил: «Поговорите с ним: он человек *помогающий*». Он созвонился с Лихачевым, который пригласил меня приехать к нему на дачу в Зеленогорск, где и состоялась наша встреча. С первого взгляда меня поразила его внешность: высокий, стройный, лицо без намека на морщины, тронутые проседью волосы, глаза, в которых светилось все богатство его внутреннего мира, такая расположенность к незнакомому человеку, как будто это был его близкий и долгожданный друг.



Д. С. Лихачев

После нескольких секунд раздумий Лихачев поддержал обе идеи: и мою о конференции, и Максимова о книге в «Научно-популярной серии». Он научил меня, как оформить заявку, и пообещал содействовать ее прохождению. А конференцию посоветовал провести в Тамбове, на родине Баратынского, где заведующим кафедрой литературы Педагогического института был его знакомый – Борис Николаевич Двинянинов. Он отправил Двинянинову письмо, которое позднее было подарено мне. Вот его текст:

Дорогой Борис Николаевич!

В Харькове живет юноша – Л. Г. Фризман, изучающий творчество Баратынского и пишущий о нем диссертацию.

Юноша этот приезжал ко мне в Зеленогорск и произвел на меня впечатление человека интеллигентного и приятного.

Он просит меня написать ему – нельзя ли было бы в родном Баратынскому Тамбове устроить юбилейную научную сессию весной 1964 года. Он сговорился с К. В. Пигаревым и другими – все согласны. **Посылаю Вам составленную им программу сессии.** Мне кажется, что такие сессии хороши и в педагогическом отношении. Напишите ему, пожалуйста. Было бы крайне важно, чтобы и Вы выступили на этой сессии с докладом или вступительным словом. У Л. Г. Фризмана есть несколько неизданных писем Баратынского. Хорошо было бы потом издать сборник о Баратынском на основании проведенной научной сессии. Шлю привет Вам и Вашим слушателям.

Искренне Ваш Д. Лихачев

29 октября 1963 г.

Научная сессия не состоялась из-за идиотских претензий начальства вроде, например, «А почему 120, а не 125?» Ничего не поделаешь, не зря писал Галич, что «начальник умным не может быть, потому что не может быть»[34]. Зато моя заявка на книгу была принята, со мной заключили договор, а Дмитрий Сергеевич согласился стать ее ответственным редактором.

[34] *Галич А.* Королева материка // Стихотворения и поэмы. СПб., 2006. С. 200.

Хочу рассказать еще об одном эпизоде, произошедшем позднее и, как мне кажется, показательном для характеристики Лихачева. Я уезжал из Ленинграда в Москву, и он попросил меня заехать к нему на дачу и отвезти в редакцию журнала «Известия АН СССР. Серия литературы и языка» какой-то манускрипт, представлявший такую ценность, что он не решался доверять его почте. Поручение это я, конечно, выполнил, но, когда после этого зашел в «Науку», мне сказали, что моя книга не сдается в набор, потому что срочно нужна подпись Лихачева на какой-то бумаге. Я взял эту бумагу, в тот же вечер уехал обратно в Ленинград и утром был уже в Зеленогорске. Телефона на даче Лихачева не было, и я чувствовал себя ужасно неловко, сваливаясь ему на голову без разрешения.

Лихачева дома не оказалось, и я сел его ждать. Можно себе представить, как он, должно быть, удивился, когда, вернувшись, увидел меня, которого он только что проводил в Москву! Но такова была его сверхчеловеческая интеллигентность и продиктованное ею самообладание, что ни один мускул не дрогнул на его лице. Он мгновенно осознал, что я и без того смущен своим непрошенным визитом, и с улыбкой протянул мне руку так, как будто наша встреча была назначена. С тех пор прошло больше пятидесяти лет, но я не могу вспоминать ее без восхищения, потому что видел подобное только один раз в жизни.

И еще характерная деталь. Когда я уходил, он стал мне подавать пальто, а я, понятно, попытался уклониться от этой чести. Тогда он сказал: «В царской армии был такой обычай. Старший по званию мог подавать шинель младшему: это считалось знаком уважения, а младший старшему – нет: это был подхалимаж». Я это хорошо запомнил, но не очень-то воспринял к исполнению.

Дружеское отношение и заботу обо мне Лихачев проявлял много раз, но сейчас я расскажу о случае, в котором то и другое выявилось с особой силой. Когда моя книжка о Баратынском вышла в свет, я разослал ее определенному кругу специалистов, среди которых был курский литературовед И.М. Тойбин. Ознакомившись с ней, он обвинил меня в том, что мое толкование поэмы «Бал» якобы заимствовано из защищенной им двадцатью годами ранее диссертации «Поэмы Баратынского». Следует признать, что известную идейную перекличку между написанным у него и у меня усмотреть можно. Но каждому разумному человеку ясно, что произошло это без умысла с моей стороны: было бы безумием в канун защиты подобным образом поставить под удар свои планы на будущее и в какой-то степени всю дальнейшую жизнь. Здесь случилось то, что мне когда-то сказал Максимов: «Мысль нельзя не украсть».

Я всегда стремился строго соблюдать этические обязательства в отношении своих предшественников. Глава моей диссертации, освещавшая историю изучения Баратынского, была размером в 115 страниц, а об огромном количестве сносок, рассыпанных в тексте, и говорить нечего. Но при подготовке книги я проявил неосторожность. Мне показалось, что многочисленные ссылки утяжелят восприятие издания, выходящего в «Научно-популярной серии», и будет правильнее отдать должное своим предшественникам во введении. Среди них, разумеется, в самой уважительной форме фигурировал и Тойбин. К сожалению, будучи тогда человеком молодым и неопытным, я не знал, до чего может доходить мелочность и озлобление некоторых моих коллег.

К. В. Пигарев

Не нашлось ни одного литературоведа, у которого обвинения Тойбина получили бы хоть малейшую поддержку: и самый крупный специалист по Баратынскому в СССР К. В. Пигарев, и самый крупный специалист по Баратынскому на Западе профессор Гейр Хетсо отнеслись к ним с полным пренебрежением. Мало того, Пигареву так запомнилась эта история, что через три с лишним года (!) она побудила его отклонить участие Тойбина в подготовляемом им «Мурановском сборнике». Мне он сообщил об этом так: «Если бы я не знал стороной, какой это “трудный” автор, и не помнил прошлой истории с его необоснованными претензиями к Вам, я бы предложил ему участие в нашем сборнике. Но не сделаю этого, ибо опасаюсь “обжечься” и предпочитаю иметь дело с людьми, которых имею основание считать друзьями Муранова».

Я так детально излагаю эту историю потому, что среди тех, кому Тойбин изливал свои претензии, был ответственный редактор моей книги Лихачев. И в этой ситуации Дмитрий Сергеевич проявил свое дружеское отношение ко мне так, как не бывало ни до, ни после этого. Я не знаю, что писал Тойбин Лихачеву и какой ответ он получил, но вот какое письмо Дмитрий Сергеевич прислал мне:

Дорогой мой!

Дело было так. **Я** получил от Тойбина письмо с описанием того, как ему представлялось дело. Он спрашивал меня, что делать, так как он не хочет причинять **мне** огорчение. **Я** ему ответил письмом, в котором сказал, что огорчить меня он не должен бояться. Он может дать ход делу, как он пожелает, и со мной не считаться. Но… я еще сказал, что бывают случаи, когда автор допускает неэтичность по неопытности, не намеренно. И привел несколько случаев. В частности, мне все советовали, требовали даже ославить в газетах некоего Покровского, который в своей книге по истории обществ, мысли списал целые страницы из моей книги «Национальное самосознание др. Руси». Оказалось же, что он издал курс своих лекций, которые читал много лет, и в этом курсе «освоил» выписки из моей книжки, и счел текст целиком своим. Покровский не догадался отмечать в своих выписках источники и как-то забыл, что текст не его. За это объявлять его нечестным человеком?!

Я посоветовал Тойбину написать Вам, но ни в коем случае (если он не хочет брать грех на душу) не разводить «историю», так как все могло быть и не со злым умыслом, а по неопытности Вашей или по Вашей неряшливости.

Так оно, видимо, и есть. Я жалею, что сразу сам Вам не написал, но у меня было много неприятностей и, как говорится, «не до того…». Впредь будьте более точны во всех случаях. Человек пишущий – канатоходец, а я к тому же – склеротик (вдруг забыл Ваше имя и отчество).

Желаю Вам хорошей защиты.

Ваш Д. Лихачев 28 августа 1966 г.

P. S. Сообщите, как защитили и как будет с Тойбиным. Если надо, я ему напишу еще раз. Извините за почерк.

Когда при одной из последующих встреч я попытался предметно показать Лихачеву надуманность тойбинских претензий, он не стал меня слушать и только сказал со смесью досады и брезгливости: «Да забудьте вы об этом. Ну бывают такие подозрительные люди».

И еще два комментария к этому письму: первый шутливый, а второй вполне серьезный. Когда Лихачев обозвал себя склеротиком, он имел в виду, что у него, как у многих пожилых людей, как сейчас и у меня, вдруг выпадают из памяти хорошо знакомые имена. Через семнадцать лет после описанных событий – а мы на протяжении этого времени общались множество раз – произошла наша встреча на Съезде славистов. Буквально бросившись ко мне навстречу, пожимая руку и приобнимая второй, он, видимо, вновь забыл, как меня зовут, и обратился ко мне с восклицанием: «А! Баратынский из Харькова!» Когда вскоре после этого я увидел его на скамейке и подсел к нему, он без малейшего напряжения назвал меня по имени и отчеству. Из тогдашнего разговора в памяти остался только рассказанный им анекдот. Портной обещал заказчику сшить ему костюм за две недели. Заказчик заметил с упреком: «Господь Бог весь мир создал за одну неделю» – «Но что это за мир!» А если говорить всерьез, то формула в его письме: «Человек пишущий – канатоходец» – может быть, самое умное из всего, что я когда-либо от кого-либо слышал.

Моя защита, о результатах которой спрашивал меня Лихачев, прошла успешно. Детальнее я расскажу о ней в посвященном этой теме очерке, а сейчас сообщу только, что состоялась она исключительно благодаря помощи Лихачева. Дело в том, что попасть в Совет она могла только после одобрения кафедры, которой заведовал, мягко говоря, очень тяжелый человек по имени Макар Павлович Легавка. Мне подсказали единственно действенный выход из положения – сделать так, чтобы Легавку за меня попросил Лихачев. Дмитрий Сергеевич написал ему письмо, в котором просил посодействовать моей защите. Расчет оказался безошибочным. Легавка пришел в такой восторг от того, что к нему обратился «сам Лихачев», что носил это письмо на груди, всем его показывал и так проникся сознанием своего величия, что судьба жалкой букашки Фризмана утратила для него всякий интерес.

Еще один эпизод, когда я получил действенную помощь от Лихачева. Работая в Республиканском историческом архиве, я изучал в нем фонд Харьковского историко-филологического общества и написал по обнаруженным там материалам статью «А. И. Белецкий в Харьковском историко-филологическом обществе (по неопубликованным материалам)». Прежде чем представить ее для публикации я решил показать ее Лихачеву, а он переправил ее главному редактору журнала «Известия АН СССР. Серия литературы и языка» Д. Д. Благому, сопроводив письмом, копию которого прислал мне. Вот это письмо:

Глубокоуважаемый Дмитрий Дмитриевич!

Посылаю Вам статью молодого литературоведа Л. Г. Фризмана об акад. А. И. Белецком. Я бы считал крайне важным поместить эту статью в нашем журнале. А. И. Белецкий принимал очень энергичное участие в работе «Известий АН», он был замечательным литературоведом, а статья Л. Г. Фризмана, хорошо написанная, раскрывает ряд новых фактов малоизвестного периода его деятельности.

Статья Л. Г. Фризмана написана отчасти по моей просьбе. Я буду только просить Л. Г. Фризмана несколько разъяснить тот пункт его статьи, где он пишет об отношении А. И. Белецкого к второстепенным писателям, о необходимости изучать их творчество для установления и уточнения историко-литературного процесса. Дело в том, что эта мысль А. И. Белецкого высказывалась и до него. В «Кратком курсе методологии истории литературы» В.Н. Перетца эта мысль уже есть, а В. Н. Перетц может считаться учителем А. И. Белецкого. Затем эта же мысль высказывалась А. Н. Веселовским. До А. Н. Веселовского ее высказывали русские революционные демократы. Идея А. Н. Веселовского имеет «хорошую генеалогию», и о ней следовало бы напомнить.

С приветом и уважением, Д. Лихачев

Слова Лихачева о том, что статья, о которой идет речь, написана отчасти по его просьбе, требуют некоторого пояснения. Просьбы в точном смысле этого слова не было. Но в одной из наших бесед Дмитрий Сергеевич сказал мне: «Вас никогда не будут считать серьезным ученым, если вы не будете находить и публиковать рукописи». Эти слова надолго стали для меня путеводной звездой, и я, как мог, старался им следовать. Так появились и первая статья в «Известиях АН», и первая статья в «Русской литературе» о Брюсове как исследователе Баратынского, также построенная на архивных материалах, и многие последующие публикации.

Не буду пересказывать содержание других писем, полученных мной от Лихачева. Это, как правило, отклики на мои книги, которые я ему посылал, поздравления с праздниками, пожелание здоровья, когда он узнал, что я болел. Он находил время для того, чтобы внимательно следить за моей деятельностью, а я особенно этим дорожил, помня его завет: «Ученый должен не писать отдельные статьи или книги, а строить свой творческий путь».

Не могу не признаться, что следовать завету у меня получалось плохо. Я беспорядочно метался по разным именам, проблемам и эпохам, и метания эти приобрели особую остроту, когда пришлось определять тему докторской диссертации. Я колебался между двумя вариантами: «Историей русской элегии», которой меня страстно соблазнял Ефим Григорьевич Эткинд («Вы созданы для этой темы… Да кто же, если не вы…» и т. д.), и «Литературным мастерством Маркса и Энгельса» – вариантом, несравненным с карьерной точки зрения. Мои публикации по этой второй теме получили живейшую поддержку двух Институтов марксизма: и у нас, и в ГДР. Мне сулили не только блестящую защиту, но и последующие золотые горы, ведь на эту тему никто не писал, можно сказать, что я был по ней единственным специалистом в мире. В мои колебания были посвящены несколько человек, но всерьез я советовался только с двумя: с Алексеем Владимировичем Чичериным, с которым мы особенно сблизились после того, как он выступил оппонентом на моей защите, и с Лихачевым. Чичерин мне говорил: «Вы напоминаете мне человека, который стоит между двумя пропастями и выбирает, в какую из них броситься». Я понимал, куда он гнет: он хотел, чтобы я не выбирал один из вариантов, а сделал обе эти темы. С Лихачевым было сложнее. Ему была милее «Элегия», но он хотел, чтобы решение я принимал сам. Специально для этого разговора я приехал к нему на Муринский, мы сидели за кофе, он пощипывал печенье и в ответ на все мои pro и contra только повторял: «Думайте, думайте». Я ему: «Дмитрий Сергеевич, я вовсе не собираюсь бросать русистику. Я хочу повторить опыт нашего с вами общего друга Георгия Михайловича Фридлендера, который с блеском защитил докторскую на тему “К. Маркс, Ф. Энгельс и вопросы литературы”, после чего вернулся к прежней тематике и сейчас руководит изданием академического Достоевского. Вы ведь его поддерживали и даже выступили оппонентом на его защите. Почему же не хотите поддержать мой совершенно аналогичный ход?». А он: «Думайте, думайте…»

Однажды я встретился с ним на лестнице Пушкинского Дома. Он очень спешил, бросил на бегу: «Придумайте что-нибудь для “Научно-популярной серии”. Темку хорошую!» – и умчался вниз, не дожидаясь ответа. Я подумал, вспомнил, что у меня есть неплохой задел

материала по Киреевскому, и написал ему об этом. Он ответил, что тема ему очень нравится как тема научной работы, но что провести ее по научно-популярной серии будет трудно. Я отказался от этих планов и, как показала жизнь, поступил правильно. Через несколько лет я выпустил книгу «Европеец. Журнал И. В. Киреевского» в серии «Литературные памятники», и она получилась намного более весомой и значимой, чем было бы научно-популярное издание.

Также в «Литературных памятниках» мной были изданы «Стихотворения и поэмы» Баратынского, в сущности, полное собрание его поэтических произведений. Меня пригласили на заседание редколлегии, на котором утверждалась к печати эта книга, и заседание оказалось настолько необычным, что о нем стоит рассказать. Меня-то даже не обсуждали, когда дошло до этого пункта повестки дня, Лихачев сказал непререкаемым тоном: «Нам нужен Баратынский. Нам нужен Леонид Генрихович», – никто и не подумал возражать. Необычный и даже, я бы сказал, скандальный характер этого заседания был вызван совсем другим. Дело в том, что для цензурно-партийного контроля в редколлегию был введен, а затем и назначен на должность заместителя председателя директор издательства «Наука» А. М. Самсонов, который самовольно, без согласования с Лихачевым, создал из числа входивших в редколлегию москвичей (а их было больше, чем ленинградцев) некое «бюро редколлегии», которое и возглавил. Получилось, что в редколлегии появился как бы второй председатель – председатель «бюро». Какое-то время Лихачев это терпел, но в конце концов его возмущение вырвалось наружу, и случилось это как раз на том заседании, в моем присутствии. Он не повысил голоса, но в его гневе крылась такая сила, что он казался страшен, и все присутствующие притихли. Когда заседание закончилось, сидевший рядом со мной Михаил Леонович Гаспаров сказал мне: «Вот вы и были высоких зрелищ зритель».

В тот день я видел Лихачева вживую последний раз, в дальнейшем – только на телеэкране: в зале Съезда народных депутатов, где он был назван «гордостью русской интеллигенции», в ленинградских передачах, в которых он выступал, чаще всего в защиту культуры. Незадолго до его смерти мне довелось услышать его рассказ о пребывании на Соловках. Я смотрел на него и любовался: его внешность в 92 года вызывала такое же восхищение, как в 57: свободно льющаяся речь, молодой голос, в котором слышались все оттенки эмоций, выразительность мимики, мягкая неназойливая жестикуляция. Он вспоминал, как однажды лагерное начальство ни с того ни с сего расстреляло триста заключенных. «Вы только подумайте, – говорил он, как бы доверительно обращаясь к каждому из своих слушателей. – Триста человек! Без всякой вины, просто так, для острастки!»

Я пишу и в этом, и в других очерках, составивших эту книгу, только о том, что видел и чувствовал сам, не пересказывая чужих мнений и не ввязываясь в полемику с ними. Мне доводилось слышать, что Лихачев порой относился к младшим и сверстникам сдержанно и даже прохладно. Но я все годы нашего общения ощущал только душевность его отношения к себе и другого слова подобрать не могу.

Пигарев и Двинянинов

В предыдущем очерке упоминались имена Кирилла Васильевича Пигарева и Бориса Николаевича Двинянинова. Оба они заняли в моей жизни такое место, что о них нельзя не рассказать. Пигарев, правнук Тютчева, с 1949-го по 1980-й год был директором Музея-усадьбы «Мураново», сменив на этом посту своего дядю Николая Ивановича Тютчева. В 1943 году он выпустил книгу «Солдат-полководец. Очерк о Суворове». Ему позвонил Сталин, который похвалил книгу и разрешил обращаться к нему в случае надобности. Пигарев никогда к нему ни с чем не обратился, но последствия этого звонка дали о себе знать. Ему сразу была присвоена степень кандидата исторических наук, книгу дважды переиздали – в 1944 и 1946 годах, а с 1949-го ее автор стал научным сотрудником Института мировой литературы.

Мурановский музей, носящий имя Тютчева, был в равной степени центром изучения двух поэтов – Тютчева и Баратынского. Баратынский жил в Муранове многие годы, им было построено главное здание усадьбы – одного из редких примеров неразоренных дворянских гнезд. Ее сохранением мы обязаны самоотверженности потомков обоих поэтов. Старожилы мне рассказывали, что в трудные годы мать Кирилла Васильевича Екатерина Ивановна Тютчева, в прошлом императорская фрейлина, сама натирала полы, чтобы поддерживать прежний вид Мурановской усадьбы.

Когда в 1950 году исполнилось 150 лет со дня рождения Баратынского, отношение к нему было такое, что ни один журнал, ни одна газета и строчкой не откликнулись на эту дату. И только Пигарев осуществил издание солидного тома произведений поэта, который и сегодня, после того как Баратынского наиздавали бессчетное количество раз, остался в известном смысле явлением уникальным – единственной книгой, включающей стихи, прозу и письма поэта.

Понятно, что в середине 50-х годов, когда я занялся Баратынским, Пигарев был в моих глазах первым специалистом по Баратынскому, и не было мне другого пути в мир этого поэта, как через Мураново. Что тогда означала поездка в Мураново, трудно рассказать. Туда не то что транспорта – дороги не было. Появление там автомобиля считалось таким событием, что гурьба босоногих мальчишек мчалась за ним с торжествующими криками: «Машина! Машина!».

С первой моей встречи с Пигаревым прошло шестьдесят лет, но доброта и расположенность, с которыми он меня встретил, живы в моей памяти. Дело было, конечно, не во мне, а в нем. Он всех так встречал. У норвежского русиста Гейра Хетсо, которому будет посвящен отдельный очерк, он вызвал такую же влюбленность, что и у меня. О своих отношениях с Пигаревым я расскажу еще немало. А сейчас о том, как он откликнулся на выход моей первой книги.

Дорогой Леонид Генрихович!

От души поздравляю Вас с выходом в свет Вашей книжки о Баратынском. Спасибо Вам за присылку мне экземпляра с авторской надписью. Еще до его получения я уже знал, что книжка поступила в продажу. Наша библиотека приобрела для музея несколько экземпляров. Каждый из наших сотрудников также купил себе по экземпляру. В августе я не собираюсь никуда уезжать: буду в основном находиться в Муранове с еженедельными наездами в Москву. А посему с удовольствием повидаюсь с Вами. Для нашего музея будет очень интересно и ценно получить рукопись Вашей диссертации и составленного Вами словаря.

Мураново, 10 августа 1966 г.

О роли, которую сыграл Пигарев в подготовке и организации моей кандидатской защиты, я рассказываю в другом очерке, а здесь лишь добавлю к там сказанному несколько деталей.

Пигарев отдал в «Вопросы литературы» в высшей степени положительную рецензию на мою книгу, но, опасаясь, что журнал не поспеет к защите, отправил также в адрес Совета отзыв на автореферат. В этой связи он мне писал: «Сегодня отсылаю в адрес ученого секретаря Ученого совета Харьковского университета свой отзыв, копию которого препровождаю и Вам. Я полагал, что пятый номер “Вопросов литературы” с моей рецензией на Вашу книгу выйдет до защиты, и я успею послать не письменный отзыв, а печатный. По словам Чичерина, это было бы еще лучше. Но, боясь опоздать, направляю все же письменный, в котором я ссылаюсь на свою рецензию и повторяю ее основные положения. Написать что-либо более пространное в настоящее время, когда приходится заниматься трудным делом свертывания экспозиции в связи с ремонтом здания, просто не имею возможности, да вряд ли это и нужно.

С нетерпением буду ожидать известия о том, как пройдет защита. Не поленитесь послать мне телеграмму и на Москву, и на Мураново, т. к. я не знаю, где буду находиться в конце недели.

Номер журнала с материалом о Баратынском, который Вы для нас купили, представляет для музея тем больший интерес, что его у нас нет. Будем очень благодарны за присылку.

А Вас я еще не поблагодарил за автореферат и за оттиск статьи о Брюсове – исследователе Баратынского. Автореферат мне, правда, был известен в рукописи, а статью я прочитал с большим интересом. Спасибо!»

В нескольких письмах Пигарева встречались упоминания о планах издания Баратынского в «Литературных памятниках». Дело в том, что его представление о том, как должна быть построена эта книга, существенно отличалось от требований серии. В письме от 1 января 1974 года у него вырвалось такое признание: «Все это вынудило меня просить редколлегию “Литературных памятников” временно отложить обсуждение проспекта нового издания Баратынского. Должен сказать, что требование ориентироваться на какое-либо из прижизненных изданий меня крайне расхолаживает. Душа не лежит к изданию 1835 года, а выбрать другое нельзя. Между тем 175-летие Баратынского, исполняющееся в 1975 году, обязывает подумать о своевременном выпуске нового издания. И так нужно было бы именно академическое!»

Сложилось так, что после многолетних откладываний и переносов Пигарев, в конце концов, отказался от подготовки Баратынского для «Литературных памятников», и это издание, выпуск которого редколлегия считала совершенно необходимым, было передано мне. В этой деликатной ситуации Кирилл Васильевич повел себя необыкновенно тактично и благородно. Он не выказал и тени ревности, был готов всячески мне помогать, но своей помощи ни в малейшей мере не навязывал. Он не проявил даже малейшего недовольства, когда узнал, что я планирую строить издание на совершенно иных принципах, чем он. Как он сам говорил, ему хотелось издать Баратынского «по типу Тютчева», где в первый том по чисто вкусовым соображениям были отобраны лучшие стихи, а во втором оказались как бы отсеянные. И для меня, и для редколлегии серии это было неприемлемо; я считал, что необходимо воссоздать литпамятник и воспроизвести издание 1835 года, от чего Пигарев настойчиво уклонялся. Тем не менее мы с будущим редактором «памятника» А. Л. Гришуниным пришли к общему мнению, что вообще отстранить Пигарева от участия в издании Баратынского недопустимо, и он был обозначен вместе с Гришуниным как второй ответственный редактор.

Мое расставание с ним оказалось совсем не таким, каким должно было быть… В 1982 году я приехал в Москву, и меня там разбил приступ тромбофлебита. Когда я лежал в гостиничном номере, позвонил Пигарев и сказал, что он в академической больнице и просит его навестить. Пришлось объяснить, что я сам потерял подвижность и не могу без посторонней помощи даже вернуться домой. После возвращения в Харьков я лег на операцию, после которой долго не выезжал, а когда приехал в Москву, Кирилла Васильевича уже не было в живых. Много позже меня вместе с другими участниками конференции, посвященной 200-летию со

дня рождения Баратынского, привезли в Мураново. Так я побывал на его могиле. Он покоится рядом со своим дядей Н. И. Тютчевым.

Второй герой моего очерка – Борис Николаевич Двинянинов, заведовавший кафедрой в Тамбове, на родине Баратынского, где я, а правильнее сказать – мы с ним, пытались организовать конференцию, посвященную Баратынскому. С Двинянинoвым меня свел Лихачев. Он относился к этому человеку с большим уважением и симпатией и как-то сказал о нем: «Настоящий джентльмен». Такую характеристику я слышал из его уст только один раз. Лихачев написал Двинянинову письмо, получив которое, тот сразу связался со мной, а через некоторое время подарил мне его. Задуманная нами конференция не состоялась. Зато неосуществленная идея положила начало моей многолетней крепкой дружбе с Двинянинoвым, продолжавшейся до конца его дней.

Судьба сложилась так, что впоследствии не только он помогал мне, но и я ему. Делом всей жизни Двинянинова было изучение творчества П. Ф. Якубовича. Он подготовил издание его стихотворений для Большой серии «Библиотеки поэта» и двухтомник «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника». Человек он был необыкновенно эмоциональный (что отразили и его письма, к которым я не раз обращусь), страстно влюбленный в своего «героя». Он держал в памяти мельчайшие детали его жизни и личности, говорил о нем с жаром и восторгом.

Можно себе представить, какой взрыв эмоций он пережил, когда я сообщил ему, что нашел в отделе рукописей Центральной научной библиотеки Харьковского университета неизвестный труд Якубовича – написанную им в студенческие годы диссертацию о Лермонтове. Он примчался в Харьков, гостил у меня, изучал текст с благоговейным восторгом, подготовил его публикацию, а закончив работу, выпросил у работников библиотеки разрешение своими руками положить рукопись обратно в сейф.

Когда Двинянинов подготовил для «Научно-популярной серии» книжку о Якубовиче, вышедшую в 1969 году под названием «Меч и лира», я смог передать ему свой опыт: у меня тремя годами ранее была там же выпущена книжка «Творческий путь Баратынского». Благодаря моим советам, он заполучил для своей книги мою бывшую редакторшу – обаятельную Н. В. Шевелеву – и успешно обошел многие препятствия, которые мне в свое время попортили немало крови. Вскоре после его поездки в Харьков я получил такое письмо.

Дорогой Леонид Генрихович!

Как всегда, начинаю с покаянной ноты. Терзаюсь, что не удалось вовремя ответить Вам на любезное письмо. Шлю заботливой и внимательной Вашей супруге свое бесконечное восхищение и спасибо: мал золотник да дорог! В Харькове у народовольцев было много связей. П. Якубович после Киева должен был съездить в Харьков, но не удалось. Так что харьковский автограф – закономерен. В ЦГАЛИ – переписка П.Я. с В. Фигнер об издании сборника ее стихотворений.

Моя медлительность связана с поездкой в Москву, в МГПИ, на 9-ю межвузовскую конференцию, посвященную вопросам поэтической лексики. Выступил с докладом «Генезис романтической лексики М. Горького-поэта», где подчеркнул, что Чижи-Ужи, Соколы-Буревестники и прочая романтическая живность была до Алексея Максимовича. Приняли тепло, возможно, в связи с тем, что интерес к М. Горькому сейчас падает. Был в издательстве, на Подсосенском. Рукопись получила положительную рецензию и пойдет дальше – на утверждение (после того, как ее просмотрит проф. Бельчиков). Ваш Е. Баратынский, если не ошибаюсь, подписан к печати (так слышал). Летом опять мне надо работать, т. е. вносить поправки, кое-что сократить. Мелочи, в общем, а потребуют внимания и дополнительных усилий… Честно говоря, все надоело.

30 мая был в Переделкино (шестая годовщина со дня смерти).

Тропа народная к нему не зарастает:

Вы шли толпой, и врозь, и парами,
И кто-то вдруг сказал: «Сегодня
Шестое августа по-старому,
Преображение Господне».

(«Август»)

Читали стихи. И я подключился. Были и «лирики», и «физики». Последних, пожалуй, побольше. Ветерок срывал языки пламени красных листков. Они пылают на могиле поэта. Посылаю Вам один «язычок» огненно-маковый. (В конверт был вложен листок, обернутый в бумагу с надписью «Пламя с могилы Б. Пастернака. 30 мая 1966 г. Переделкино. Шестая годовщина. Б. Д.» Он хранится вместе с письмом. – *Л.Ф.*)

Б. Пастернак похоронен в самом конце кладбища, на высоком косогоре, возле трех огромных сосен с варварски обрубленными ветвями (война?). Был Духов день. В церквушке кладбищенской XV в. (в память Преображения) поставил свечку – «вниманье небольшое».

Да, Леонид Генрихович, годы летят… И «год сгорел на керосине залетевшей в лампу мошкой» (Б. Пастернак).

Желаю Вам и Вашим близким всего радостного и творческого!

Ваш Б. Двинянинов

P. S. Сейчас страда – экзамены (и свои, и ГЭК), отчеты и во всем – суета сует.

А вот его отклик на получение моей книги:

Дорогой Леонид Генрихович!

Ваш Баратынский застал меня на пороге: еду! В Москву! В Москву! В Москву и дальше (Тарту). Поздравляю с завидным началом – «будь новый день любимцу счастья в сладость!» Тронут не только памятью сердца, но и памятью ума, который блещет на каждой странице изящно изданной книги. Сопереживаю с Вами счастливые минуты.

Спасибо душевное и многократное за подарок. Теперь путь открыт! Вперед и выше! Еду разведывать судьбу «Меча и лиры». Всего радостного Вам и дому!

Ваш Б. Двинянинов
28 июля 1966 г.,
перед отходом поезда

Наша переписка продолжалась несколько лет, и, хоть он часто жаловался на здоровье, его беспримерная душевная энергия била фонтаном. На мою «Жизнь лирического жанра» он откликнулся телеграммой, которую воспроизвожу: «Очарован вашим элегическим подарком великолепной книгой дружеской надписью вчитываюсь волшебные страницы обнимаю благодарю Двинянинов». Из полученных от него писем, любое из которых позволяет ощутить богатство эмоционального мира этого удивительного человека, приведу без всяких дополнительных пояснений только одно:

Дорогой Леонид Генрихович!

От всего сердца и глубины душевной (еще не обмелевшей) поздравляю Вас и Ваших близких с заслуженной Высокой **Нравственной и Научной Победой** – присуждением Вам **Доктора Отечественной Филологии. Салют и Венок Лавровый Вам!** Я только что получил это радостное известие, которое давно ждал, но… когда счастье спит, а несчастье дрем-

лет, их лучше не трогать, а терпеливо надеяться, что первое улыбнется и приголубит… И так, воистину:

Велик Господь! Он милосерд, но прав. Нет на земле ничтожного мгновенья. Прощает он бездушию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.

А «Желчевики и Мстивцы» вынашивали и вынашивают эти злоумышленья! Правда, им не до пиров, но на пакости они способны всегда. Итак, Леонид Генрихович, теперь Вам жить будет несколько легче, и побеждать, и двигаться вперед! Главное и Самое Главное, что **Победа** Ваша Честная, бескомпромиссная, **Высокая и Красивая, зримая Победа, абсолютно бесспорная!** Но «при всем при том» этой честной победе строились козни, препоны… Вот образ нашей **развитой** жизни, увы мне! И второе – Победили Вы **вовремя.** Есть еще Силы, Планы у Вас и Мечты, Поиски и Открытия – все то, что Л. Толстой называл великой **«Энергией заблуждения»,** которая движет творчество свободно, без потуг.

Когда-то восторженно-трагический К. Фофанов вопрошал 100 лет назад:

Где сеять мне? Какое семя? Кого мне зернами питать? Пошли, Господь, **иное время, Чтобы Посеять и Пожать!**

В наш жестокий век немногим, и Вам в том числе, удалось и «посеять, и пожать». Где теперь Вы будете работать?

Вы идете на смену старым могиканам. Вот и Дм. С. Лихачев в письме ко мне **12** мая вдруг неожиданно пожаловался на **усталость,** на неизлечимую болезнь **старость** (похвалив мою статью в сб-ке «Творчество Чехова» («А. Чехов и П. Якубович»). И представьте, Леонид Генрихович, это чувство Д.С. я уловил в изумительном комментарии Д.С. к «Пляскам смерти» А. Блока (РЛ, 1978, № 1, стр. 182). Думаю, что это не случайно. А какие планы у Игоря? Сердечный привет супруге и родителям. Будьте здоровы и счастливы. **Салют!**

Ваш Б. Двинянинов
24 июня 1978 г.

P. S. Леонид Генрихович, добавлю. У нас к честным докторам и лицам с творческой жилкой отношение хамское. Вот свежий пример. И. Я. Бийск завершил докторскую (он историк). Его и «сушили, мочили, мариновали», но утвердили. И что же? Кафедру истории получил не он, а косноязычный кандидат из «своих». Раздавались голоса, что с докторами на кафедре стало хуже: нагрузка им минимальная, «работай за них, лежебоков» и т. д. И что же? И. Я. Бийск подал об уходе. Кое-кто вздохнул облегченно. Есть и другие, более грустные истории (с проф. А. Л. Хайкиным), которая окончилась трагически… Это пишу «для опыта», не поддавайтесь, давайте отпор негодяям.

Б.Д.

Тогда, в начале своего творческого пути, я не сумел осознать, как много правды было в предостережениях этого благородного человека. Те, кто дочитает эту книгу до конца, поймут, что позднее я с лихвой наверстал упущенное.

Кандидат, превзошедший академиков

Сегодня, когда, по пушкинскому слову, «мы близимся к началу своему», не могу не признать, что не был обижен вниманием и расположением коллег и вообще людей, составлявших мое окружение. Но по-настоящему близких друзей, однодумцев, понимавших тебя с полуслова, потому что сердца бьются в такт, и одинаковые оценки людей и событий предопределены общностью взгляда на все, было немного, да их и не бывает, и не должно быть много. Таким другом был мне Вадим Эразмович Вацуро. Таких, как он, в моей жизни было не больше, чем пальцев на одной руке. Дружба наша продолжалась чуть менее сорока лет, с дня знакомства – 13 мая 1963 года – и до его так потрясшей своей неожиданностью кончины 31 января 2000 года.

Мы были с нем не только одногодки, но в полном смысле сверстники: я появился в конце сентября 1935-го, он два месяца спустя. Когда мы впервые увидели друг друга и с первой встречи интенсивно друг к другу потянулись, ни его, ни меня в науке еще не было, мы только топтались у ее дверей в надежде туда проникнуть. Я был учителем школы рабочей молодежи, в аспирантуру меня не пустили по причине моего еврейства, но я пытался и учился что-то исследовать, и получал поддержку у московских и ленинградских специалистов.

Я написал тогда статью на крамольную тему «Пушкин и Польское восстание 1830-1831 гг.», где пересматривался господствующий в советское время взгляд на трактовку этих событий в стихах «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Опубликовать ее в тех условиях не решился никто (она увидела свет через тридцать лет после своего создания в пору так называемой гласности), но возглавлявший Пушкинскую группу Института русской литературы (ИРЛИ) Б. С. Мейлах договорился с директором института В. Г. Базановым, что мне, безвестному провинциальному учителю, предоставят возможность доложить свою работу на расширенном заседании Пушкинской группы и даже оплатят командировку в Ленинград.

А секретарем Пушкинской группы был Вацуро, которому и поручили организационную подготовку мероприятия. Придя в Пушкинский Дом, я позвонил ему от дежурного, и ко мне спустился ну прямо мальчик! Даже исполнившихся к тому времени 27 лет ему нельзя было дать. О бороде, ставшей позднее неотъемлемой частью его имиджа, полагаю, не помышлял и он сам. Он отвел меня в пушкинский кабинет, который на предстоящие десятилетия стал для меня как бы главной комнатой этого дома, назвал участников предстоящего заседания. А были там имена одно громче другого, скандальная тема привлекла многих: возглавлявший отдел новой русской литературы Б. П. Городецкий, руководивший отделом рукописей Н. В. Измайлов, видный ленинградский методист К. П. Лахостский, тогда еще не известный, но позднее занявший заметное место в науке Ю. В. Стенник. Всех не упомню.

В. Э. Вацуро

Обсуждение было бурным. Не вдаваясь в детали, скажу только, что я вышел из него победителем, и даже Городецкий, бывший главным объектом моей критики, вынужден был признать, что узнал из моего доклада много нового и что некоторые положения его прежних работ ему придется пересмотреть. Вацуро выступил очень коротко, и его замечания не касались существа проблемы, а были, так сказать, техническими. Сегодня, когда я знаю о нем все, что знаю, не могу отделаться от ощущения, что в нем уже тогда складывалась черта его характера, о которой речь впереди: «не хочу ставить себя в один ряд со всякими там докторами, профессорами и обладателями разных громких титулов».

Запомнился такой эпизод. Поскольку в моем докладе больше говорилось о ситуации и событиях 1830 и 1831 годов, чем собственно о стихах Пушкина, Вацуро сказал как о чем-то само собой разумеющемся: «Леонид Генрихович как историк…» Мейлах перебил его обращенным ко мне вопросом: «Вы разве историк?» Я ответил: «По образованию и тематике моих работ я филолог, но по складу своего научного мышления – историк».

Этот доклад открыл мне путь к научному общению с кругом крупнейших ленинградских ученых. Я познакомился с Д. С. Лихачевым, Д. Е. Максимовым и другими, сыгравшими важную роль в моей судьбе. Я работал в то время над кандидатской диссертацией и над книгой «Творческий путь Баратынского», которая вышла в издательстве «Наука» в 1966 году, проводил много времени в библиотеках и архивах Москвы и Ленинграда и, конечно, в Пушкинском Доме. Именно тогда, в процессе интенсивного общения с Вацуро, у меня сложились с ним те отношения, которые с годами становились все ближе и доверительнее. То, что мы остались на «вы» и в письмах, а также в официальной обстановке и в присутствии посторонних величали друг друга по имени и отчеству, характера наших отношений никак не отражает. Вадимом и Леней мы были наедине, в часы не слишком частых застолий, разгоряченные напитками, которыми оба – будем откровенны – никогда не пренебрегали.

Когда вышла моя книга о Баратынском, один из первых экземпляров уже в августе был отправлен Вацуро. И вот какое письмо я от него получил:

Дорогой Леонид Генрихович!

Странно посылать благодарность за подарок через полгода – странно и невежливо. Но Вы не сочтете позднюю отсылку этого письма за небрежение. Дело в том, что я получил Вашу книжку по возвращении из отпуска, и, мысленно благодаря Вас, рассчитывал встретиться с

Вами в Ваш очередной приезд, который, как я знал, состоится осенью, чтобы выразить Вам лично свою признательность и поговорить с Вами о своих впечатлениях по поводу прочитанного. Теперь мне стало известно, что Вы взяли диссертацию для каких-то доделок, и приезд Ваш тем самым отложился. Очень огорчен, что нам не удалось тем самым побеседовать в этом году.

Не будучи специалистом по Баратынскому, я не могу судить о Вашей книге достаточно профессионально, и мои впечатления – лишь впечатления читателя, скажем так, средней квалификации. Должен сказать, что я прочел Вашу книжку с удовольствием – она, по-моему, очень хорошо написана, в ней есть многое, что мне близко и интересно (интересно, собственно, почти все); очень хорош, в частности, анализ эволюции взглядов Белинского на творчество Баратынского. В популярной книжке Вы сумели – что редко кому удается – вовсе избежать почти неизбежного упрощения многих сложных вопросов. У меня нет никакого сомнения, что книжке предстоит сыграть свою – очень положительную – роль в «воскрешении» Баратынского среди широкой читательской публики.

Еще раз – я очень жалею, что нет возможности поговорить подробно. Письмо имеет свои границы, свои жанровые и всякие другие пределы; в нем всего не скажешь, и для обсуждения оно мало подходит. Кое-что мне показалось спорным или недостаточно развернутым (Вы видите, что я начинаю предъявлять к популярной книге требования почти такие, как к большой монографии, – но пеняйте на себя: Вы так и писали). Мне показалось, что Вы взяли две, условно говоря, точки отсчета: декабристы и Пушкин. И заставляете Баратынского двигаться в этих пределах, что иногда производит впечатление некоторой искусственности, быть может, уступки традиционным точкам зрения. Я понимаю, что специальная аргументация тех или иных выводов (в частности, в важном вопросе о взаимоотношениях Баратынского и Пушкина) по необходимости вынесены Вами за пределы книги, но, может быть, следовало сказать об этом подробнее. Это ведет нас к нашему старому спору – о типах художественного мышления и его, так сказать, историко-литературной функции; я все же продолжаю считать, что разность этих типов никогда не является причиной литературных расхождений. Можно было бы наметить и другие точки возможных дискуссий, – но все это частности. Позвольте еще раз поблагодарить Вас и поздравить Вас с выходом в свет хорошей книжки.

Ваш В. Вацуро

20 ноября 1966 г.

P. S. Борис Соломонович (Мейлах. – *Л.Ф.*) показал мне Вашу очень интересную статью. У него тоже положительное впечатление. Что Вы собираетесь с ней делать?

В.В.

Это письмо требует некоторых пояснений. Прежде всего, должен признаться, что я не сразу осознал, чего стоит та высокая оценка, которой его автор удостоил мою книгу. Я получил множество хвалебных слов от виднейших советских и иностранных ученых. В их числе были М. П. Алексеев, Н. М. Дружинин, П. Н. Берков, Л. Я. Гинзбург, Е.Г. Эткинд, А. А. Аникст, Ю. В. Манн, Ю.Г. Оксман, Г. М. Фридлендер и другие, и я тогда не осознал, что похвала Вацуро особая, и кого попало он ею не одарит. Была в его письме одна деталь, показавшая, что Вацуро увидел в моей книге то, чего не заметил никто другой. В ней впервые было привлечено специальное внимание к анализу эволюции отношения Белинского к Баратынскому. Я придавал ему такое значение, что вынес этот анализ *в заключение* книги. Никто, кроме Вацуро, не обратил на это внимания, он один услышал биение моего сердца. Понятно, как это повышало в моих глазах значимость его критических замечаний.

Вообще в этом человеке удивительно сочетались открытость, доброжелательность, готовность прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается, с четким пониманием того, кто есть

кто… Не сомневаюсь, что тем, кто общался с ним более или менее регулярно, запомнилась такая особенность его внешности – характерный пронзительный прищур. Веки сдвигались, в глазах загорался недобрый огонек, и следовала – не реплика! – а отравленная стрела. Как-то в застольной беседе я передал ему слова Г. М. Фридлендера, что сотрудники Пушкинского Дома делятся на две категории: старые зубры и молодые карьеристы. Реакция Вадима была мгновенной: «Он забыл третью категорию – старые карьеристы». В другом разговоре я поделился с ним своим мнением о непорядочном, на мой взгляд, поведении В. С. Непомнящего. Тот же беспощадный взгляд – и выстрел: «Это он непомнящий. А мы кое-что помним».

Еще одна фраза из приведенного письма, важная для его характеристики. Я планировал защиту своей диссертации в Пушкинском Доме, но этому яро воспротивилась Е. Н. Купреянова, считавшаяся тогда главным специалистом по Баратынскому. Ее пытались переубедить и Лихачев, который был ответственным редактором моей книги, и Мейлах, вызвавшийся выступить первым оппонентом на моей защите, они убеждали, что моя работа превосходит уровень обычных кандидатских диссертаций, и я более, чем кто-либо, заслуживаю присуждения искомой степени. Все было напрасно, пришлось мне забирать свою работу и защищать ее в другом месте. Не сомневаюсь, что обо всем этом Вацуро был осведомлен, но не захотел меня травмировать и сделал вид, что, по его сведениям, я «взял диссертацию для каких-то доделок».

Теперь о постскриптуме. Упомянутая там «очень интересная статья» содержала результаты моих архивных разысканий по истории журнала И. В. Киреевского «Европеец». Я предназначал ее в сборник, к участию в котором меня пригласил Мейлах, но собирался этот сборник медленно, а она вызвала такую заинтересованность, что ее немедленно напечатали в журнале «Русская литература». Внутреннюю рецензию на нее написал Вацуро. Впоследствии эта статья стала зерном, из которого выросла подготовленная мной книга «Европеец. Журнал И. В. Киреевского», вышедшая в серии «Литературные памятники».

Когда я поблагодарил Вацуро за содействие публикации моей статьи, он прислал такое письмо:

Дорогой Леонид Генрихович!

Очень рад, что моя рецензия в какой-то мере оказалась Вам полезной. Она вовсе не заслуживает того, что Вы о ней пишете. Я, действительно, прочел Вашу статью с большим интересом, но дело вовсе не только во мне; в самой статье в первую очередь. Она произвела хорошее впечатление и на Б. С. Мейлаха, и в редакции, и на В. Г. Базанова, так что я оказался неожиданно гласом общего мнения. Очень хорошо, что подтвердились Ваши наблюдения и в части текстологической. Одним словом, статья уже редактируется для номера; они торопятся сдать его скорее в печать. Скоро будем праздновать выход ее в свет.

Поздравляю Вас с действительно превосходной работой и напрашиваюсь на оттиск.

Ваш В. Вацуро

А вот ответ на отправленный ему оттиск:

Дорогой Леонид Генрихович!

Простите великодушно за задержку письма; как Вы увидите из дальнейшего, мне нужно было навести некоторые справки. Я написал Вам сразу же по получении оттиска, но тогда письма не отправил, имея в виду как раз дополнить его интересующим Вас материалом, а теперь не могу найти этого недописанного листка среди необъятного вороха хаотически разбросанных бумаг домашнего «архива».

Во-первых, спасибо большое за оттиск; он **очень** нужен. Если у Вас есть лишний, пришлите, пожалуйста, М. И. Гиллельсону; он в долгу не останется. О статье Вашей он очень высокого мнения. Нужно сказать, что Вы преувеличиваете мои заслуги в появлении Вашей

статьи; я был не повивальной бабкой, а ассистентом акушера или чем-то в этом роде. Материал разыскан и интерпретирован так, что статью взял бы любой журнал вне зависимости от рецензии. Все же мне очень приятно, что именно мне довелось способствовать выходу в свет этой отличной работы… <…>

В. Вацуро

С начала 70-х годов началось мое продолжающееся по сей день сотрудничество в серии «Литературные памятники». Сейчас на стадии редактирования уже седьмой мой «памятник», а первым были «Думы» Рылеева, выпуск которых приурочили к 150-летию восстания декабристов. Приехал я в Пушкинский Дом, где в отделе рукописей были сосредоточены все необходимые мне материалы, и наткнулся на запрет: в связи с предстоящим юбилеем, подготовкой к которому руководит В. Э. Вацуро, все декабристские материалы выдаются только с его письменного разрешения.

Вацуро жил в отдаленном районе Ленинграда, телефона у него тогда не было, пришлось ехать к нему без разрешения и договоренности. Он встретил меня, ошеломленный неожиданным визитом, обнял прямо в дверях и, разумеется, снял все вопросы. Уезжал я с запиской: «Леониду Генриховичу можно выдавать все, он для нас что-нибудь и сделает». Мне не терпелось приняться за работу, и от предложения Вадима выпить чая с ромом я уклонился. «С ромом! С ромом!» – продолжал он меня уговаривать, но к отказу отнесся с пониманием.

Когда «Думы» вышли, я получил, как обычно, очень содержательный отзыв от Вацуро:

Дорогой Леонид Генрихович!

Спасибо Вам большое за книжку. Это очень серьезная работа, которую я изучаю с большим интересом и удовольствием. С. А. Рейсер, который получил ее тоже, такого же мнения. Я договорился с «Русской литературой», которая берет у меня рецензию. Мне хотелось бы написать ее по существу; ведь у нас рецензии обычно – либо реклама, либо фельетон. Настоящая научная работа требует обсуждения, – и обсуждение вскрывает новации лучше, чем анонс. Я вижу основные достоинства Вашей книжки в текстологических Ваших предложениях и в статье – очень хорошей и очень по существу написанной. Для меня очень привлекательна мысль о связи думы с элегией, – и Вы, занимаясь элегией, почувствовали это как нельзя лучше. Пожалуй, Вы немного «осторожничали» и поддались гипнозу Ваших предшественников в оценке статьи Козлова, которая, как мне представляется, вовсе не была столь уж направленной против Рылеева. Видите ли, в чем дело: пока статью считали принадлежащей Воейкову, ее могли рассматривать как попытку дискредитировать «Полярную звезду» (хотя к самому

Рылееву Воейков относился скорее положительно); но ведь Козлов – не Воейков, и недаром он от Воейкова вскоре ушел. Этот критик имел свою ограниченность: он говорил как выученик архаических сентименталистов, с которыми был тесно связан; ему мешало (или помогало!) великолепное знание западных литератур (он владел тремя языками) и наклонность к несколько нормативным филологическим штудиям. Бестужев его не понял; он был человек поверхностный и не очень образованный, и человек партии. В своих литературных суждениях он постоянно попадал впросак; его очень идеализировали как теоретика. Но это вопрос особый. Второе, о чем стоило бы поговорить, – это превосходный текстологический этюд о «Видении императрицы Анны». Дело в том, что есть еще один беловой автограф – ЦГАОРа; его не учли ни Вы, ни издатели БП. Если бы Вы сказали мне в свое время, что издаете «Думы», я бы Вам подарил его, – но я, к сожалению, подробно узнал о Вашей работе очень поздно, а при последнем нашем разговоре у меня создалось впечатление, что Вы его знаете. Мне ужасно досадно! Автограф близок к редакции ЦГАДА – с другой стороны, к поздней редакции ПД. Он еще требует обследования, – и я не знаю пока, нужно ли считать его дефинитивным или еще одной из последних редакций. Там есть первая строфа. У меня в руках только микрофильм.

Еще одно дополнение, – дума «Владимир Святый». Я не знаю, почему редакторы БП отвергли мои соображения, высказанные во внутренней рецензии, – а Вы пошли за ними. Никто не заметил, что эта дума не закончена. Легенда о Владимире гласит, что завоевания князя еще не были завоеванием веры, которую вообще **завоевать** нельзя, и только последующий подвиг смирения был истинной победой христианского начала во Владимире, после чего его и крестили. Из текста думы совершенно ясно, что этот последний эпизод предполагался, но не был дописан. Ее нужно перенести в «Незаконченные» думы.

Все это, как Вы понимаете, лишь первоначальные соображения и дополнения, отнюдь не колеблющие Вашей ценнейшей работы. Очень жаль, что комментарий сокращен; нужна была бы преамбула об истории сборника. Этот упрек я намерен высказать не Вам, а чудовищно нелепым издательским тенденциям, уже распространившимся и в Акад. наук. Вас же упрекну в одной ошибке – весьма досадной, которую Вы взяли из БП, а я, будучи внутренним рецензентом, не досмотрел: на стр. 239 перепутаны два Муханова: вместо Петра, который действительно участвовал в издании «Дум», поставлен Павел (и даты Павла!), который декабристом не был и к «Думам» не имел никакого отношения. Это особенно досадно потому, что на стр. 235 Вы ссылаетесь на дату 14.IX.1824 г., взяв ее из письма Рылеева в Ценз, комитет, в к-ром сказано, что издание «Дум» он доверяет Петру Александровичу Муханову (полное имя и отчество!). Стало быть, здесь простой недосмотр, – но уже начавший гулять по солидным изданиям.

Вот пока мои предварительные замечания. Мне очень хотелось, чтобы моя рецензия была дельной и отражающей достоинства Вашей работы, – и что соображения, которые имеют, как Вы понимаете, не «квалификационный» характер, а более широкий, были поняты правильно. Само собой разумеется, что и «Посадница», и «Меншиков» мною будут изучены со всей тщательностью, равно как и «Вадим».

Всегда Ваш В. В.

Упоминание имени С. А. Рейсера совсем не случайно. Вацуро, как и я, считал себя его учеником. Мы оба в меру сил стремились перенять у него, а также у И. Г. Ямпольского заботу о точности деталей и цитат, присущую литературоведам старой школы куда более, чем их нынешним последователям.

Думаю, это как-то повлияло на то, что и он, и я на протяжении доброго десятка лет сотрудничали в отделе «Язык художественной литературы» журнала «Русская речь», который вел умный и умелый редактор и на редкость хороший, открытый, расположенный к своим авторам человек – Ю. И. Семикоз. В регулярно появлявшихся там публикациях Вацуро особенно выразительно проявлялось его свойство, о котором он говорил внешне вроде бы скромно, но с горделивым достоинством: «Я ведь фактограф…» Это значило: «У вас там разные туманные теоретические построения, а у меня достоверные, установленные сведения, **факты…»**

Статьи, напечатанные в «Русской речи», он, по инициативе Семикоза, издал в сборнике «Записки комментатора». Это удивительная книга – зеркало его исследовательской манеры; мне кажется, что такую мог выпустить только он один.

Во второй половине 70-х годов издательство «Художественная литература» затеяло выпуск серии «Русская литературная критика». Мне довелось «открыть» эту серию сборником «Литературно-критические работы декабристов». Одновременно я подготовил для той же серии вышедший двумя годами позднее сборник «Литературная критика 1800-1820 годов». В него были включены статьи Карамзина, Жуковского, Мерзлякова, Веневитинова, а также других, в том числе незаслуженно полузабытых авторов. Тогдашний заведующий редакцией литературоведения и критики издательства С. Гиждеу шутливо называл эти книги: «декабристы» и «остальные». «Остальных» я рассылал слабо, и откликов на них, естественно, пришло немного. Но один из них был мне особенно дорог, потому что его автор – Вацуро.

Дорогой Леонид Генрихович!

Я виноват перед Вами безнадежно и не рассчитываю на амнистию. Примите все же мою запоздалую благодарность. Последний сборник очень хорош, – правда, и материал благодатный, почти не перепечатывавшийся. Но Вы и выбрали его прекрасно. И речь А. Тургенева, и статья Дашкова, и Строев, и статья Мерзлякова о «Россияде», о которой все говорят и которую никто не читал… Я с удовольствием отметил Вашу уверенную атрибуцию статей А. А. Писарева; мне по одному частному поводу пришлось самому заниматься этой работой, – и вывод был тот же; Вы избавляете меня от подробной аргументации, дав возможность просто сослаться на Вашу, как на несомненную. Фигура Писарева, конечно, очень укрупнилась – хотя бы по числу сочинений.

Еще раз – спасибо, и желаю Вам всяческих благ. Выходит ли Катенин?

Ваш В. Вацуро

Два слова о Катенине. Откликаясь на «Литературно-критические работы декабристов», мой друг и многолетний спутник всех моих трудов А. Л. Гришунин обоснованно выражал удивление тому, что в него не вошли «Размышления и разборы» Катенина, которым там было самое место. Он не знал того, что знал Вацуро, – что я в это время уже готовил другое, более объемное издание Катенина для издательства «Искусство». В него вошел не только знаменитый катенинский трактат, но и его статьи, и письма, содержащие литературно-эстетическую проблематику. Вопрос Вацуро выдавал живой интерес, с которым он ждал выхода этой книги. Она появилась в том же «урожайном» для меня 1980 году, когда и упомянутый гослитовский сборник, и первая книга, подготовленная для «Детской литературы», «Высокое стремленье. Лирика декабристов», и следующий литературный памятник «Северные цветы на 1832 год». Снова получилось, что Фризман и Вацуро идут параллельными курсами: он незадолго до этого выпустил книгу «“Северные цветы”. История альманаха Дельвига – Пушкина».

Не осталось эпистолярных следов оценки, которую заслужило у Вацуро выпущенное мной в той же серии издание «Европеец. Журнал И. В. Киреевского». Напомню, что эта книга, вышедшая в 1988 году, произросла из «зерна» – статьи двадцатилетней давности, рецензированной Вадимом. Сам я считаю ее лучшей из семи «памятников», которые мне довелось подготовить.

Встреча с Вацуро, о которой я теперь веду речь, происходила в грустной обстановке: мы хоронили уже упоминавшегося замечательного человека – Соломона Абрамовича Рейсера, который, к слову сказать, был издательским рецензентом «Европейца» и оценил его на пять с плюсом. Сходной была и оценка Вацуро. Мы стояли втроем: он, я и Мариэтта Омаровна Чудакова. Вацуро, обращаясь к ней, сказал: «Леонид Генрихович выпустил “Европейца”…» – и развел руками с таким выражением лица, которое было красноречивее любых слов.

Я не буду распространяться о масштабах и значении сделанного Вадимом в науке, такая задача мне не по силам, намечу лишь несколько штрихов портрета этой необыкновенной личности. Сказать, что он не гонялся за учеными и академическими степенями и званиями, – значит ничего не сказать. Он их избегал намеренно и неуклонно. Конечно, тщеславие присуще разным людям в разной мере. Есть люди, у которых стремление стать членкором пожирает все их существование, которые умирают после неудачного для них исхода академических выборов. Я мог бы назвать имена, но не стану тревожить прах этих несчастных.

Вадим не просто не хотел, а жестко противился тому, чтобы перед его фамилией значились слова «доктор наук», «профессор», «член-корреспондент», «академик». Он говорил и мне, и еще многим: «Я хочу быть просто Вадимом Эразмовичем Вацуро». О таком, кажется, бытует выражение «уничижение паче гордости». Сегодня уже, кажется, все осознали, что его имя в самом деле дороже и выше любых титулов.

Он стремился избежать даже защиты кандидатской диссертации и поддался, только когда его взяли за горло. Но он брезгливо не вложил в нее ни капли души, и это, кажется, самая бледная работа из всего им написанного. А о докторской и слышать не хотел, поступавшие предложения отвергал с порога. Возня с защитой, оформление степени для него были лишь отвлечением от настоящего дела.

Но не только это определяло его особенность в научном мире. Как правило, у крупных литературоведов, тех, кого мы считаем классиками науки, в центре внимания бывает великий писатель, главный предмет научных пристрастий. У Б. В. Томашевского это Пушкин, у Г. А. Гуковского тоже Пушкин, к которому перед самой смертью добавился Гоголь, у Б. М. Эйхенбаума через всю творческую биографию проходят Лермонтов и Лев Толстой, И. Л. Волгин посвятил свою жизнь Достоевскому… Перечень можно продолжить. Вацуро писал и о Пушкине, и о Лермонтове (да еще как!), но его всегда тянуло к писателям безвестным, к фигурам второго и третьего ряда.

Мне кажется, за этим стояла, может быть, более инстинктивная, чем осознанная, потребность заниматься тем, чем не занимается никто, нацеленность на открытия, стремление писать о том, о чем никто не пишет и чего никто не знает. А сколько он знал! И все помнил… Однажды я в разговоре с ним упомянул о мало кому ведомом (правда, «пригретом» Пушкиным) поэте начала XIX века В. Г. Теплякове. У Вадима глаза разгорелись. Он воскликнул: «Тепляков – это мой любимый сюжет!» – и тут же по памяти перечислил все дошедшие до нас архивные источники его текстов.

Да что там Тепляков! Вы мне покажите человека, который был бы способен так долго, настойчиво и страстно воскрешать образ Софьи Дмитриевны Пономаревой. Какое там место в истории литературы занимает эта дама? А Вацуро накопал о ней материала на фундаментальную монографию объемом более 400 страниц – «С.Д.П. Из истории литературного быта пушкинской поры». Он не дожил до выхода пятого тома словаря «Русские писатели», но статья, помещенная в нем о Пономаревой, подписана: «По материалам В.Э. Вацуро».

Не могу и не хочу даже отдаленно сравнивать себя с ним, но не погрешу против истины, если признаюсь, что тяга к изучению писателей второго ряда, восстановлению в правах незаслуженно забытых имен, оболганных и отвергнутых репутаций, всегда была присуща и мне. Это влияло на предметы моих собственных исследований и определяло темы диссертаций, которые я предлагал своим аспирантам. Не сомневаюсь, что и у меня, и у Вадима это коренилось в неприятии нравов советского литературоведения, делившего писателей на наших, прогрессивных, и не наших, реакционных, которых ни издавать, ни изучать не следовало.

Позднее, избрав темой своей докторской эволюцию русской элегии, я, как, впрочем, любой историк жанра, обрек себя на изучение прежде всего второстепенных писателей. Как учил нас всех В. М. Жирмунский, один писатель, даже великий, не может создать жанр, от него исходят лишь творческие импульсы, но только его последователи, второстепенные писатели, создают традицию, «превращают **индивидуальные** признаки великого литературного произведения в признаки **жанровые…»**[35]**.** И за время работы над диссертацией и сопровождавшей ее монографией, и когда я готовил для «Библиотеки поэта» том «Русская элегия XVIII – начала XX веков», я не раз обращался за помощью к Вадиму. Второго собеседника, общение с которым могло дать такие результаты, найти было невозможно.

В 1983 году проходила представительная конференция, посвященная 150-летию поездки Пушкина по пугачевским местам. Перед ее началом собрали организационное совещание, в котором участвовали и Вадим, и я. Торговались о регламенте, докладчиков было много, каждый требовал себе побольше времени, страсти кипели не на шутку. Я над такими требованиями посмеиваюсь, потому что убежден: чем ярче и крупнее идея, тем короче она может быть выра-

[35] *Жирмунский В.М.* Байрон и Пушкин. Л.: Наука, 1978. С. 227.

жена. Если докладчик говорит: «Я в двадцать минут не уложусь, мне дайте сорок», – будьте уверены, в его докладе будут красоты композиции, умело подобранные иллюстрации, но яркой идеи там нет. Мои увещевания успеха не имели. А Вацуро сказал: «Вот я сейчас рассержусь и все расскажу за две минуты». И рассказал бы, потому что в его докладе было настоящее открытие: он разыскал неведомого уральского знакомого Пушкина, который не попал даже в известный справочник Л. А. Черейского «Пушкин и его современники».

Бывало, что и я оказывался ему полезен. В 1978 году я опубликовал в польском журнале «Zagadnienia rodzajow literackich» статью «Устойчивые элементы стиля русской романтической элегии и их идейно-эстетическая функция», напечатанную у нас позднее.

Получив ее оттиск, он позвонил мне по телефону и наговорил кучу лестных слов, из которых мне запомнилась фраза: «Я самый заинтересованный ваш читатель!». Как выяснилось позднее, он совместно с Верой Аркадьевной Мильчиной готовил сборник «Французская элегия XVIII-XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры». В ходе этой работы Вадим не раз обращался ко мне и черпал из моего архива сведения о никому не ведомых текстах напрочь забытых русских элегиков. Та благодарственная ссылка, которая сделана в примечаниях, далеко не отражает объема нашего тогдашнего сотрудничества. И еще забавная деталь. Издательство выпустило книгу с роскошной суперобложкой, которой, однако, хватило лишь на часть тиража. Пока очередь дошла до медвежьего угла, в котором жил богом забытый харьковчанин, дефицитные экземпляры с суперами расхватали, и Вадим сделал на подаренной мне книге виноватую надпись: «Дорогому Леониду Генриховичу. Твоя от твоих. Супермену без суперобложки».

Политические темы не занимали в наших беседах заметного места. Но один эпизод, имевший место в начале 90-х, вскоре после падения коммунистического режима, врезался в мою память. Он сказал: «Я всю жизнь ненавидел коммунистов, но эти ДЕ-МО-КРА-ТЫ…» – и только головой покачал.

С 1991-го по 1999-й каждые два года проходили Международные пушкинские конференции – некие всемирные съезды пушкинистов. Проводились они в местах, связанных с биографией Пушкина: в Михайловском, в Твери, в Одессе, в Нижнем Новгороде и, наконец, в Москве. Ваш покорный слуга был их непременным участником. Инициатором и главой оргкомитетов этих конференций был возглавлявший тогда отдел пушкиноведения ИРЛ И наш общий близкий друг Сергей Александрович Фомичев, а их душой – Вадим Вацуро. Бессменный тамада всех завершающих конференции банкетов, он садился рядом с Фомичевым, открывал пиршества неизменной фразой: «Друзья мои, прекрасен наш союз!» – и услаждал нас своим обаянием и остроумием.

Менее чем через год после последней Пушкинской конференции предстояло 200-летие крупнейшего из литературных спутников Пушкина – Баратынского, и мы сговаривались о скорой встрече. Если Вацуро на пушкинском юбилее был царь и бог, то на юбилее Баратынского эта «должность» должна была перейти ко мне. Я был автором первой монографии о творческом пути Баратынского, в 1982 году подготовил полное собрание его поэтических произведений для серии «Литературные памятники», а в 2000-м в честь юбилея выпустил аналогичное издание и в Большой серии «Библиотеки поэта». Увы, до юбилея Баратынского Вадим не дожил буквально считаные дни.

Хотя считается, что мы ценить умеем только мертвых, скажу, положа руку на сердце, что для меня масштаб личности и деятельности Вацуро после его смерти не вырос ни на йоту. Издания и переиздания его работ воспринимаю лишь как торжество справедливости. Рад, что не только некоторые понимавшие это и раньше люди, а вся литературоведческая общественность, все наше общество осознало, как он был прав в убеждении, что имя ВАДИМА ЭРАЗМОВИЧА ВАЦУРО не может быть возвышено никакими степенями и званиями, что он, гордо оставшись кандидатом наук, превзошел академиков.

В кругу пушкинистов

В начале 1965 года Б. С. Мейлах, не забывший о моем докладе, состоявшемся двумя годами ранее, пригласил меня на Пушкинскую конференцию в Псков, и в июне я на нее приехал. Это был, можно сказать, мой выезд «в свет». Во всей моей последующей жизни не было конференции, на которой я бы завязал столько знакомств и дружеских связей, длившихся в последующие десятилетия.

Среди них был Юрий Михайлович Лотман, отметивший нашу первую встречу бесценным подарком – «Пушкинским сборником», где была напечатана его статья «Идейная структура “Капитанской дочки”», которую я считаю и его шедевром, и одной из жемчужин пушкиноведения; была его жена, очаровательная Зара Григорьевна Минц. Только благодаря этой встрече я смог позднее обратиться к ним с просьбой о сдаче в Тарту кандидатского экзамена по специальности, без чего была бы невозможной моя защита. Вторично приезжал туда для работы над фондом Бенкендорфов, находившимся в Государственном историческом архиве Эстонской ССР. В оба приезда проводил вечера в их гостеприимном доме за разговорами о жизни и литературе. Запомнилась такая деталь. Когда я рассказал ему, что в составленный мной «Словарь Баратынского» не включены служебные слова, Лотман заметил, что они иногда бывают важнее смысловых, и привел в подтверждение цитату из «Скупого рыцаря»: «Твой старичок торгует ядом. – И ядом»[36].

На псковской конференции произошло знакомство с Лидией Яковлевной Гинзбург, общением с которой я очень дорожил. Каждый раз, когда я приезжал в Ленинград, я звонил ей, договаривался о встрече, и она вела со мной очень доверительные беседы о литературе и не только. Помню, однажды я позвонил, ожидая, что она, как это бывало обычно, назначит мне удобное для нее время. Но она ответила: «Я сейчас пишу новую книгу и ни с кем не встречаюсь. Но если вам нужно, приезжайте». Думаю, такой отказ характеризует ее лучше, чем любая беседа за чашечкой кофе.

Среди тех, с кем я там сблизился, был Владимир Владимирович Пугачев, смелый, принципиальный человек, наделенный немалым гражданским мужеством. Мы с ним дружили долгие годы. А с Павлом Наумовичем Берковым я провел времени немного, но он проявил интерес к моим занятиям и дал несколько напутственных советов, а позднее присылал оттиски своих статей и очень заинтересованно откликнулся на мою книгу о Баратынском.

Псков положил начало моим не очень продолжительным, но необыкновенно сердечным отношениям с Георгием Феодосьевичем Богачем. Он жил в Кишиневе, энергично и плодотворно изучая русско-молдавские связи, мы регулярно переписывались, он навещал меня в Харькове. Потом он неожиданно переселился в Сибирь, и контакты наши постепенно ослабели. По поводу книги о Баратынском он прислал такое письмо.

Дорогой Леонид Генрихович,

в два приема только теперь, наконец, прочел Вашу книгу о Баратынском. Что Вам сказать! Получил огромную радость за ясность изложения нового для меня материала и за Ваш **дар** писать красиво! Еще раз поздравляю Вас и желаю больших успехов. То же самое могу сказать и по поводу статьи в 10-м номере «Вопр. л-ры». Крепко жму Вашу руку.

Г. Богач

[36] *Пушкин А. С.* Поли. собр. соч. В 16 т. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1937-1949. Т. 7. М.-Л., 1948. С. 107.

Он был одним из тех, кто, будучи посвящен в проблемы моего трудоустройства, пытался помочь. Предыстория этого в самом кратком изложении такова. В 1957 году я окончил филологический факультет Харьковского педагогического института со свободным дипломом. Назначений тогда было меньше, чем выпускников, и их получали только те, кому требовалось начать работать немедленно, иначе им было бы нечего есть. Не без усилий, но все же относительно скоро я нашел себе место и стал учителем русского языка и литературы в школе рабочей молодежи, где проработал без малого тринадцать лет.

Я считался хорошим учителем, меня награждали грамотами, выдвигали на всякие слеты маяков передового опыта, а уж любовью своих учеников и особенно учениц я точно не был обделен. Одновременно окончил заочно факультет иностранных языков и получил по совместительству «почасовку» по немецкому языку. Пока моя диссертация не была написана, я считал свое положение нормальным, но после получения ученой степени решил, что поучительствовал достаточно и могу претендовать на место преподавателя вуза. К тому же в июне 1970 года мою школу расформировали, и до марта 71-го я вообще числился безработным.

Со времени моей защиты до того момента, как я получил ассистентскую ставку по немецкому языку, прошло около четырех лет. Разумеется, за это время объявлялось множество конкурсов, я регулярно подавал на них документы, как правило, будучи единственным претендентом, обладавшим ученой степенью, и столь же регулярно получал отказы. «Суффиксы мешали», – говорил по этому поводу Лев Адольфович Озеров. Он-то знал толк в «суффиксах»: его настоящая фамилия была Гольдберг.

Пытался я обратиться к министру высшего и среднего специального образования УССР. Подробно описав свои хождения по мукам, понятно объяснил, что прошу помочь мне получить работу по любой из двух моих специальностей, причем один из предметов, который я способен преподавать, изучается во всех вузах Украины. И получил ответ, что Министерство не располагает сведениями о наличии вакантных мест по моей специальности и не может оказать мне содействия в трудоустройстве на работу.

Богач был, конечно, не единственным посвященным в состояние моих дел, но он не захотел оставаться их сторонним наблюдателем. Вернувшись из командировки в Харьков, он написал заведующему кафедрой русской литературы М. П. Легавке письмо, выдержку из которого он сообщил мне: «В Харькове нашел очень много интересного. Но уехал оттуда с некоторой досадой: там я узнал, что человек, которого не я один считаю просто незаурядным, талантливый Л.Г. Фризман вовсе не по назначению работает… Буду рад и благодарен тому, кто для пользы нашего общего дела привлечет его к настоящей работе». Впрочем, никаких последствий это обращение не имело.

Вернусь к воспоминаниям о псковской конференции. Из доклада Мейлаха я узнал о предстоящем выходе книги «Пушкин. Итоги и проблемы изучения», ставшей вехой в истории пушкиноведения, из доклада Чичерина – об очертаниях его будущей прославленной монографии «Возникновение романа-эпопеи». Пленила меня – и, думаю, не меня одного – тогда совсем юная, обаятельная и кокетливая Лариса Ильинична Вольперт. В своем докладе она выявила связи пушкинской «Гавриилиады» с антирелигиозными поэмами Парни «Война богов», «Потерянный рай» и «Галантность

Библии». Игривая, несколько озорная тональность этого доклада дополнялась ее собственным обликом. Мое выступление строилось на материалах книги о Баратынском, но факт, что она уже написана и сдана в издательство, я предпочел не разглашать.

Тогда мне впервые открылась одна особенность представительных научных конференций советского времени. Если конференция проходила не в Москве или Ленинграде, а в провинциальном городе, да еще если ее открывал секретарь обкома КПСС, то на эти несколько

дней она становилась центральным событием в жизни города: все о ней осведомлены, все обязаны оказывать всевозможное содействие.

Особенно запомнилась с этой точки зрения Пушкинская конференция 1983 года, проходившая в Оренбурге и Уральске и приуроченная к 130-летию поездки Пушкина по местам Пугачевского восстания. Когда кортеж переезжал из Оренбурга в Уральск, выяснилось, что пришло из Алма-Аты указание возглавлявшего тогда Казахстан Д.А. Кунаева: «Принимать! Ухаживать!! Угощать!!!», – и на каждой остановке нас ждали накрытые столы, ломившиеся от обилия напитков и яств.

В Пскове было поскромнее, но царил тот же дух. В первый день заседание кончилось поздно: докладчики, как водится, не укладывались в отведенный им регламент, и, когда мы вернулись в гостиницу, ресторан уже закрывался. Мы настроились лечь спать голодными, да куда там! Пронесся клич: «Товарищи пушкинисты вернулись! Товарищи пушкинисты переработались! Товарищи пушкинисты проголодались!» Официантки, забыв о конце рабочего дня, вернулись к своим обязанностям. Столы были сдвинуты в один, что само по себе придало рядовому ужину банкетную внешность. Наш вождь Мейлах, как бы чувствуя свою вину, попытался поскорее освободить бедных женщин: давайте, дескать, все возьмем по бифштексу и бокалу вина. Но должным образом проинструктированные и вымуштрованные официантки начали наперебой нас уговаривать, что готовы не уходить хоть до утра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.